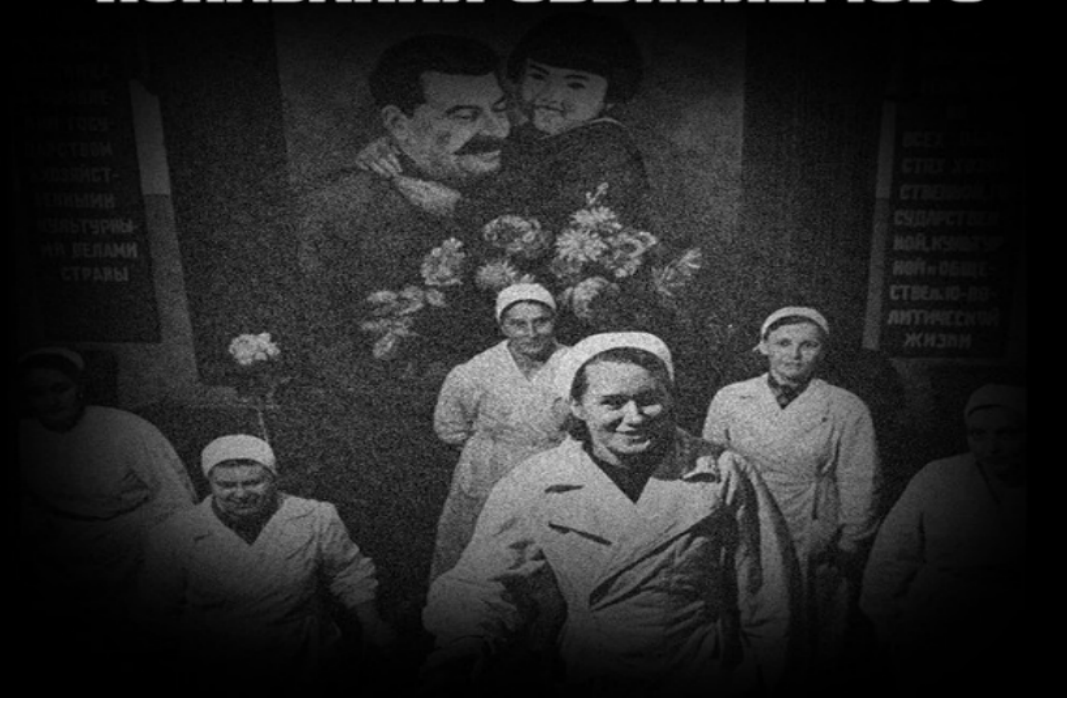
ТАЙНЫ КРЕМЛЁВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ЯКОВ РАПОПОРТ

«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 1953 ГОДА

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Я.Л. Рапопорт, известный советский ученый-медик, был одним из главных обвиняемых по «делу врачей» 1953 года. Согласно материалам следствия, они убили неправильным лечением ближайшего соратника И.В. Сталина – члена Политбюро ЦК ВКП(б) А.А. Жданова, а также первого секретаря Московского обкома ВКП(б) А.С. Щербакова; кроме того, готовили покушение на самого Сталина.

В своей книге Я.Л. Рапопорт подробно рассказывает обо всех обстоятельствах этого дела, говорит о том, как в действительности лечили советских вождей, о Сталине и его окружении, о причинах репрессий против кремлевских медиков. Его рассказ содержит многие подробности, известные только автору, и представляет собой уникальный источник по данной теме.

- Яков Львович Рапопорт
  -
  -
  - «Врачи-убийцы»
  - «Низкопоклонство перед Западом»
  - Репрессии
  - Лубянка
  - Следствие
  - Смерть Сталина
  - Конец «дела врачей»
  - Заключение
  - Приложение

Яков Львович Рапопорт
«Дело врачей» 1953 года. Показания обвиняемого

© Рапопорт Я.Л., наследники, 2017
© ООО «ТД Алгоритм», 2017

* * *

Посвящаю моей покойной жене и другу
Софье Яковлевне Рапопорт

«Врачи-убийцы»

13 января 1953 года весь мир был ошеломлен сообщением, опубликованным в центральных советских газетах и переданным по радио. В этом сообщении мир был информирован о раскрытии в Советском Союзе (главным образом, в Москве) преступной организации крупных работников медицины, совершавших чудовищные преступления: пользуясь доверием своих пациентов, они подло умерщвляли их, назначая заведомо противопоказанные им по характеру заболевания и состоянию здоровья мероприятия, приводившие часто к неизбежной гибели. Их жертвой стали выдающиеся деятели Советского государства – Щербаков, Жданов, крупные военачальники. В эту организацию входили виднейшие представители советской медицины – профессора и академики (в дальнейшем к ним присоединили большую группу врачей, рангом пониже). Их преступная деятельность, которую они осуществляли по заданию разведок капиталистических стран, не ограничивалась умерщвлением пациентов; одновременно они вели шпионскую работу по заданию тех же разведывательных органов. В этом сообщении были названы имена некоторых активных членов преступной организации (М. С. Вовси, Я. Г. Этингер, Б. Б. Коган, М. Б. Коган, А. М. Гринштейн и другие), к ним был присоединен и народный артист СССР и видный общественный деятель С. М. Михоэлс, убитый за несколько лет до этого в Минске наездом неизвестного грузового автомобиля. Автомобиль и его водитель остались необнаруженными.

Идейной платформой этой группы преступной шайки был еврейский буржуазный национализм, вдохновленный связью с американской еврейской организацией «Джойнт», о существовании которой, как впоследствии выяснилось, многие из привлеченных по этому делу не подозревали и даже не знали такого названия.

Все сообщение имело яркую антиеврейскую направленность.

Помимо террористической организации еврейских буржуазных националистов, был арестован по аналогичному обвинению до этого сообщения и после него ряд крупных ученых медиков нееврейской национальности (В. Н. Виноградов, В. Х. Василенко, В. Ф. Зеленин, Б. С. Преображенский, М. Н. Егоров и другие), а еврейская группа была дополнительно укомплектована профессорами И. А. Шерешевским, М. Я. Серейским, Я. С. Темкиным, Э. М. Гельштейном, Б. И. Збарским, М. И, Певзнером, И. И. Фейгелем, В. Е. Незлиным, Н. Л. Вильком, автором этих строк и многими другими. Некоторые из них умерли до

организации этого дела и до сообщения о нем и были «арестованы» посмертно (М. Б. Коган и М. И. Певзнер, а Я. Г. Этингер, арестованный в 1950 году, умер в тюрьме до его включения в список «извергов рода человеческого»).

Само сообщение 13 января об аресте большой группы медиков не было неожиданным. Аресты начались с ноября-декабря 1952 года; имена арестованных и число их не могло быть секретом для широких кругов населения Москвы и крупнейших центров.

Групповые аресты специалистов по профессиональному признаку не были новостью для советских граждан. Наряду с арестами, больших масс населения преимущественно из интеллигентной среды без профессионального разбора, были аресты групп, дифференцированные по их специальностям (инженеры, строители, военные, геологи, работники сельского хозяйства и т. д. и общественно-политические деятели). Из них формировались в недрах ГПУ – МГБ специализированные заговорщицкие группы с последующим физическим истреблением по приговорам открытого или – чаще – закрытого суда.

Неожиданностью был чудовищный характер обвинения большой массы медиков, к тому же известных клиницистов с большой профессиональной популярностью.

* * *

В уголовной истории советской страны уже были известны случаи аналогичных обвинений врачей, но они касались отдельных представителей врачебного сословия. В хронологическом порядке этот вид уголовной хроники, по-видимому, открыл хирург доктор Холин. Он внезапно исчез в конце двадцатых годов, и было совершенно непонятно, за что он арестован, какое преступление он мог совершить. По просочившимся слухам (они в основном подтверждались) передавали, что он был арестован в связи с операцией, произведенной М. В. Фрунзе. Об этой операции по поводу язвы двенадцатиперстной кишки ходили слухи, что она была произведена по настоянию Сталина. 31 октября 1925 года через двое суток после операции, произведенной крупнейшими хирургами во главе с профессором И. И. Грековым, М. В. Фрунзе скончался. В этих слухах был намек на то, что Сталин был заинтересован в операции и ее роковом исходе, и эта версия была использована в качестве сюжета для литературного произведения известного писателя Б. Пильняка «Повесть о непогашенной луне».

Вероятно, именно эта повесть стоила Б. Пильняку жизни. В разгар репрессий 1937 года он был арестован, обвинен в шпионаже в пользу Японии (он был в Японии и свои впечатления о поездке отразил в книге «Корни японского солнца») и расстрелян. Циркулировавшие непосредственно после смерти Фрунзе версии о сомнениях в необходимости операции с последовавшим смертельным исходом ее, по-видимому, все же достигли высших сфер, поскольку через несколько дней после похорон Фрунзе профессор И. И. Греков выступил в печати с путаными разъяснениями об обстоятельствах операции и смерти. В них он оправдывал необходимость операции и утверждал наличие показаний к ней, а смертельный исход объяснял (крайне невразумительно), главным образом, общим отягощающим фоном организма М. В. Фрунзе.

Многие из циркулировавших версий о причине смерти М. В. Фрунзе (особенно – версия о смерти от хлороформного наркоза) могут иметь правомерное медицинское основание. Следует при этом категорически отвергнуть мысль о заведомо криминальных действиях хирургов – известных уважаемых ученых. В настоящее время, по-видимому, придется удовлетвориться официальными материалами 1925 года с свидетельством современников о смерти Фрунзе; расчеты на другие источники, вероятно, лишены надежды. Какие-либо сведения о роли Холина в операции Фрунзе отсутствуют. Если его арест имел какое-либо отношение к этой роли, то наиболее вероятно предположение, что он нужен был «органам», только как источник для криминального «досье» на оперировавших хирургов, на всякий случай – авось понадобится.

Такие «досье» были в практике ГПУ – МГБ. В них арестованными и признавшими свою вину были второстепенные участники «преступлений», а основные даже не подозревали об участии в них и продолжали трудиться, часто – в почете. Нередко такие «досье» оставались «вещью в себе», без употребления за отсутствием подходящей ситуации.

Приведу известный мне такой «парадокс» сталинской эпохи.

Во 2-м Московском медицинском институте клиникой факультетской хирургии в течение многих лет (1926–1943) заведовал известный хирург-профессор, а впоследствии академик – С. И. Спасокукоцкий. В числе его ассистентов был некий доктор Арутюнов. В 1938 году он был арестован органами ГПУ и, как всегда, исчез бесследно. Причина ареста, тоже как всегда, оставалась неизвестной. Эпизод этот вскоре был забыт как не представлявший чего-либо необычного для того времени, да и ранг исчезнувшего не способствовал долгому сохранению памяти о нем и интереса к нему. Неожиданно в 1940 году партийная

организация института (Арутюнов был, кажется, членом КПСС) получила письмо от Арутюнова, написанное на листке ученической тетради и присланное, по-видимому, кем-то, освобожденным из заключения, по просьбе его «односидельца» – Арутюнова. В этом письме Арутюнов писал, что он осужден на 10 лет за участие в контрреволюционной организации, возглавлявшейся Спасокукоцким, в которую тот его вовлек. Далее он писал, что был уверен, что Спасокукоцкий расстрелян (по-видимому, на следствии Арутюнов все признал), раз он, только сообщник главаря организации, осужден на 10 лет. Случайно в концлагере в его руки попал клочок газеты с указом Президиума Верховного Совета о награждении профессора Спасокукоцкого орденом Ленина, и что, следовательно, он не только не расстрелян, но жив, здоров и пользуется благосклонностью Советского правительства (в дальнейшем был избран в Академию наук СССР). В связи с этим Арутюнов просит партийную организацию института ходатайствовать о его освобождении, как невинно осужденного. Его просьба осталась без последствий, никто не решился вступить в конфликт с ГПУ – МГБ, т. к. сомнения в обоснованности ареста в то время уже были преступлением против непогрешимости ГПУ, а передача письма в судебные органы могла вызвать ухудшение в судьбе осужденного.

* * *

Дело Арутюнова и дело Холина разделяет промежуток времени почти в 10 лет. Но принципиальная общность обоих дел убеждает в постоянстве ранее созданных приемов деятельности «органов». Остается загадкой целевая направленность этих приемов в подобных случаях, т. е. законспирированная политическая дискредитация «шефов» через второстепенных мнимых соучастников их преступлений. Весьма вероятно, что такой целью является формирование готовых «досье» на шефов про запас, на всякий случай, – вдруг понадобятся.

«Стукачи» для этой цели менее пригодны, они все же должны «настукивать» более или менее реальные факты или собирать их по целевому заданию. Более убедительны признания арестованных, каким бы путем они ни были получены.

Может быть, Спасокукоцкий был недоволен Арутюновым, кому-нибудь высказал без всякой задней мысли свое недовольство, и подлая, но всесильная угодливость освободила профессора от нежелательного сотрудника (Спасокукоцкий как хирург пользовался большой популярностью в «сферах»).

Холин был, по-видимому, «первой ласточкой» в использовании врачебной профессии для политических целей и первой их жертвой. Одна из последующих «ласточек» поразила неожиданностью. Речь идет о докторе И. Н. Казакове, невежественном, но предприимчивом враче, нашумевшем в 30-х годах, авторе так называемой лизатотерапии как универсального метода в профилактике возрастных человеческих немощей, как панацеи при лечении различных заболеваний. Научной предпосылкой метода являлось представление о решающей роли нарушения функции желез внутренней секреции в разнообразной патологии человека. В частности, это относилось к половой сфере, к угасанию ее активности, что особенно волновало входящих в возраст и усталых от бурной жизни крупных политических деятелей. Для восстановления нарушенной функции желез внутренней секреции больному вводился лизат соответствующей железы (препарат, в котором содержался продукт этой железы); предварительно определялся «эндокринный профиль» пациента, т. е. схема состояния его желез внутренней секреции, нуждающихся в коррекции.

Контингент потребителей лизатотерапии был избранный. Это была верхушка советского общества – крупные администраторы, политические деятели, крупные военные и т. д. Казакову был создан специальный научный институт; Институт был на исключительном положении в отношении доступа в него в качестве пациентов, роскоши обстановки, питания и т. д., а сам Казаков был фигурой, недосягаемой для нормальной научной критики, с универсальной индульгенцией от высоких органов и лиц.

Н. А. Розенель (актриса, жена наркома А. В. Луначарского) в своей книге «Память сердца» пишет о том, как к тяжелобольному и вскоре умершему в начале 30-х годов А. В. Луначарскому (соратнику Ленина и первому наркому просвещения) пришли его друзья, крупные политические деятели, в том числе – нарком по иностранным делам М. М. Литвинов, с настойчивой рекомендацией воспользоваться услугами Казакова как врача-чудодея. Они ссылались на личный опыт испытания на себе его врачебного мастерства. Казаков жаловался им, что лечащие врачи не допускают его к Луначарскому, хотя он вылечил бы его в кратчайший срок. Луначарский принял их рекомендацию, и Казаков включился в его лечение своими методами. Вскоре, однако, он был уличен в прямом жульничестве и поспешил жульническим манером самоустраниться от лечения Луначарского, безрезультатность которого к тому же стала очевидна.

Зная об отношении к Казакову в «высших сферах», я был чрезвычайно удивлен рассказом А. И. Абрикосова, производившего в 1934 году вскрытие трупа В. Р. Менжинского, председателя ОГПУ, об одном эпизоде при вскрытии.

Присутствовавший при вскрытии крупный работник ГПУ обратился к Абрикосову со словами: «Посмотрите внимательно, не найдете ли вы в теле Менжинского следов действия казаковского зелья?» А. И. Абрикосова удивила не только наивность такого предложения с точки зрения возможностей патологической анатомии, но и контекст, в котором был упомянут Казаков, находившийся в то время в зените своей славы. По-видимому, над его головой уже был занесен меч ОГПУ, опустившийся четыре года спустя. Значит, версия о злодействе медицинских работников уже была в стадии активного созревания и достигла зрелости в процессе 1938 года по умерщвлению врачами сына А. М. Горького, самого Горького, Менжинского и др. В результате этого процесса были расстреляны в числе других доктор Л. Г. Левин (врач кремлевской больницы) и И. Н. Казаков; осужден на длительное заключение и погибший в нем профессор Д. Д. Плетнев. О смерти самого Менжинского в его биографии (БСЭ. Большая Советская Энциклопедия, 2-е изд., т. 27) сказано: «В. Р. Менжинский погиб на боевом посту. Он был злодейски умерщвлен по заданию главарей антисоветского контрреволюционного «правотроцкистского блока». Версия об участии врачей в умерщвлении Горького, зафиксированная в приговоре суда и открыто не опровергнутая, существовала и поддерживалась даже спустя долгое время после ликвидации «дела врачей». Трудно было дуракам и мерзавцам с ней расстаться, о чем может свидетельствовать следующий эпизод.

В 1967 или 1968 году (т. е. спустя 30 лет после процесса об умерщвлении Горького) мы с женой отдыхали в санатории «Форос» ЦК КПСС в Крыму. В этом санатории был культработником, т. е. организатором «культурных мероприятий», молодой парень, член КПСС, глупый, самовлюбленный пижон. Однажды он повел группу отдыхающих на экскурсию в соседний санаторий «Тессели», бывший резиденцией Горького. Щеголяя своей осведомленностью об обстоятельствах смерти Горького, он показал кучу булыжников, которую врачи, лечившие Горького, якобы заставляли его перетаскивать с места на место под видом физического упражнения, чтобы вызвать его преждевременную смерть. Этот молодой болван передавал легенду, основанную на материалах суда 1938 года, вошедших во 2-е издание Большой Советской Энциклопедии (см. биографии Горького и Менжинского), не

дезавуированных открыто, по крайней мере в части, касающейся злодеяний медиков. С мистическим ужасом взирали зрители на кучу камней, которых касались мученические руки Горького, направляемые на них «убийцами в белых халатах».

Таким образом, единицы врачей-злодеев 30-х годов расплодились к 50-м годам в большую организацию из многих десятков виднейших деятелей медицины, а все событие вошло в историю под названием «дело врачей». Оно, как это видно, имело предшественников и не возникло, как Deus ex machina, как какой-то эксцесс природы, как метеор из далекого чуждого мира, ворвавшийся в атмосферу нашей планеты. Оно готовилось всей природой сталинской империи, и атмосфера для него готовилась и накаливалась в течение многих лет. Почему злая судьба постигла трех врачей из большой массы их в СССР? Попытаемся дать ответ на этот вопрос, по крайней мере в отношении Л. Г. Левина и Д. Д. Плетнева. Л. Г. Левин, руководящий работник кремлевской больницы, был образованный специалист, соавтор Д. Д. Плетнева в изданном ими руководстве по внутренним болезням для студентов и врачей, пользовавшемся популярностью в течение ряда лет. В «награду» за признание на следствии участия в «умерщвлении» А. М. Горького и его сына Левин мог передавать из заключения короткие записки. В них эзоповским языком он писал об общих условиях пребывания в тюрьме, об инкриминируемом ему преступлении, сознанию в котором его вынудили угрозой расправы с семьей. Для спасения ее он на это пошел.

Старший сын Л. Г. Левина работал в Наркоминделе. Его не было в Москве в момент ареста отца. По срочном возвращении в Москву спустя два дня он написал В. М. Молотову письмо, в котором просил его вмешаться в это «недоразумение», поскольку В. М. Молотов хорошо знал отца и имел с ним контакты не только в служебных отношениях, но и в личных дружеских связях.

Письмо это он сам передал в ЦК КПСС, и ответом на него был его арест в ту же ночь с последующим исчезновением из жизни. Семья Левиных много лет была в убеждении, что это письмо не дошло до Молотова. Однако его увидели в деле по посмертной реабилитации. Письмо до Молотова дошло, как об этом свидетельствовал автограф на нем Молотова следующего содержания: «Почему этот „профессор» еще в НКИД, а не в НКВД». Каламбур палача у плахи!

Конечно, он получил директивное значение. Участие профессора Д. Д. Плетнева в «умерщвлении» Горького и его сына было воспринято советской, особенно медицинской, общественностью, казалось бы, уже привыкшей к острым блюдам

1937 года, как мрачная сенсация. Д. Д. Плетнев пользовался огромной популярностью, как образованный клиницист с большим врачебным опытом и как ученый, принятый в высших этажах советского руководства. Подлинные причины его ареста и осуждения (он был осужден на 25 лет и умер в заключении накануне «дела врачей») не были известны, вероятно, и ему самому. Строились разные догадки. При той популярности, которую имел Д. Д. Плетнев, организаторы большого процесса сочли, по-видимому, необходимой предварительную общественную дискредитацию его, как человека, способного на аморальные поступки. Форма этой дискредитации была на уровне культуры и грязной фантазии авторов ее.

* * *

Подобно грому из ясного неба, вдруг в центральных газетах в 1939 году (в том числе и в «Правде») во всю ширину полосы появился гигантский заголовок: «Проклятие тебе, насильник, садист!» Под этим кричащим заголовком была статья (государственной важности!), посвященная аморальным действиям профессора П. К нему на прием в качестве больной пришла гражданка Б., и профессор П. в припадке бешеной страсти (ему уже было за 60 лет!), вместо оказания гр-ке Б. необходимой помощи врачебным искусством, искусал ей грудь и нанес ей этим тяжелую физическую и моральную травму. Я знал эту гр-ку Б.

Она была репортером одной из московских газет (кажется, «Труд») и иногда приходила ко мне, как проректору по научной и учебной работе 2-го Московского медицинского института, за какой-нибудь информацией. Внешность ее отнюдь не вызывала никаких сексуальных эмоций и даже не ассоциировалась с такой возможностью. Это была женщина лет сорока, с удивительно непривлекательной и неопрятной внешностью. Длинная, какая-то затрепанная юбка, башмаки на низком стоптанном каблуке; выше среднего роста, брюнетка сального вида, с неопрятными космами плохо причесанных волос; пухлое, смуглое лицо с толстыми губами. Один вид ее вызывал желание поскорее освободиться от ее присутствия. И вдруг оказалось, что она – это и есть г-ка Б., девственная жертва похоти профессора П., «насильника, садиста!».

Узнав об этом, я говорил, что кусать ее можно было только в целях самозащиты, когда другие средства самообороны от нее были исчерпаны или недоступны. Тем не менее профессор П. был судим за этот «варварский» поступок и за нанесение увечий и

осужден на 2 года.

Ответ на поставленный выше вопрос восходит к тайнам гибели в 1932 году Н. С. Аллилуевой, жены Сталина. Известно, что она покончила жизнь самоубийством выстрелом себе в висок. Была попытка скрыть эту явную причину смерти даже заменой при похоронах обычной прически Н. С. Аллилуевой зачесом на висок для маскировки огнестрельной раны. Официальной версией была смерть от аппендицита, неуклюже неправдоподобной даже для непосвященных.

Посвященными в истинную причину смерти были А. Ю. Канель – главный врач кремлевской больницы, Л. Г. Левин и профессор Д. Д. Плетнев. Аллилуеву видели накануне трагедии без всяких признаков аппендицита, а утром она была обнаружена мертвой в постели с огнестрельной раной в виске и лежащим около трупа пистолетом. Всем им было предложено подписать бюллетень о смерти от аппендицита, от чего они все трое категорически отказались. Бюллетень был подписан другими врачами. Сталин не забыл этого отказа, и его злобной местью была версия «умерщвления» А. М. Горького Плетневым и Левиным. А. Ю. Канель умерла в 1936 году от менингита, иначе она, конечно, разделила бы судьбу «убийц» Горького.

В чем была провинность И. Н. Казакова, остается тайной. Казаков, как отмечалось выше, был принят в высших этажах сталинского общества, знал многие из его тайн и мог быть нескромным. Это, возможно, привлекло к нему внимание органов государственной безопасности, и, как выше отмечалось, он давно был у них на прицеле.

«Низкопоклонство перед Западом»

Длительно накаливалась и подготавливалась антисемитская направленность «дела врачей», и психологической подготовкой к нему была так называемая борьба с космополитизмом, открытая в 1948 году редакционными статьями в газетах «Правда» и «Культура и жизнь». В этих статьях раскрывалась вредительская деятельность литературных, музыкальных и театральных критиков, по преимуществу еврейской национальности, якобы шельмовавших в своих критических статьях произведения русских писателей, поэтов, драматургов и одновременно прославлявших чуждые русскому и вообще советскому человеку произведения. В этих статьях, посвященных этим критикам, они именовались безродными космополитами, которым чуждо было все русское и советское, которое они беззастенчиво оплевывали.

Статьи эти, разумеется, получили широкий резонанс частью со стороны обиженных критикой, частью со стороны услужливых и услужающих лиц и организаций. Для характеристики такого резонанса можно привести короткий отчет о партийном собрании Союза советских писателей, опубликованный в газете «Правда» 11 февраля 1949 года под названием «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Докладчиком на этом собрании выступил секретарь правления Союза писателей А. Софронов. Он говорил: «Группа оголтелых, злонамеренных космополитов, людей без рода и племени, торгашей и бессовестных дельцов от театральной критики, подверглась сокрушительному разгрому в редакционных статьях газет „Правда» и „Культура и жизнь». Эта антипатриотическая группа в течение долгого времени делала свое антинародное дело. Выросшие на гнилых дрожжах буржуазного космополитизма, декаданса (?) и формализма, критики-космополиты нанесли немалый вред советской литературе и советскому искусству – они хулигански охаивали и злобно клеветали на все то новое, передовое, все лучшее, что появлялось в советской литературе и советском театре…» Далее:

«Юзовский, Гурвич, Борщаговский, Бояджиев, Альтман, Варшавский, Малюгин, Холодов и другие космополиты-антипатриоты приветствовали идеологию буржуазного Запада. Холопствовавшие перед буржуазной культурой, они отравляли здоровую атмосферу советского искусства зловонием буржуазного ура-космополитизма (?!), эстетства и барского снобизма (?!)». Далее идет конкретное разоблачение их деятельности. Например, они критиковали такие патриотические пьесы, как «Великая сила» Ромашова и «Зеленая улица» А. Сурова.

Надо сказать, что эти спектакли шли в Малом театре при почти пустом зале, хотя билеты распределялись бесплатно в учреждениях и предприятиях, и бывали случаи, когда администратор театра обращался к публике с просьбой от имени артистов занять ближайшие к сцене ряды, т. к. артистам трудно играть перед пустым залом. Критик Альтман в докладе Софронова подвергся уничтожающей характеристике, в частности, за то, что он «постановку пьесы «Принцесса Турандот» считал знаменем искусства» (это значение спектакля подтверждено всей последующей историей театрального искусства).

Уничтожающей критике подвергается деятельность Ю. Субоцкого, который «стремился отвлечь внимание писателей от нанесения ударов по безродному космополитизму», а также литературные критики Эрлих, Данин и др. В частности, о Данине сказано, что он «унаследовал методы оголтелых космополитов, в свое время травивших Горького и Маяковского (кто были эти космополиты?) и возвеличивавших антинародную безыдейную поэзию (в дальнейшем признанную вершиной поэзии) Б. Пастернака и А. Ахматовой (!). Весь доклад – безудержная ругань, в которой докладчик не ограничивал себя ни в малейшей степени необходимостью соблюдения хоть элементарной правды; это был не доклад, а донос, без необходимости соблюдения видимости правдоподобия и элементарного приличия, а смысл некоторых ругательных выражений может быть понятен только изобретателю их.

* * *

Всякое общественное явление имеет своих конкретных носителей. Поэтому борьба с космополитизмом, естественно, должна была вылиться в борьбу с конкретными носителями космополитического зла. В первой фазе этой борьбы на направлении главного удара были литературные критики. Затем начались поиски признаков космополитизма в творчестве писателей и поэтов. Например, у Багрицкого в поэме «Дума про Опанаса» герой – еврей Иосиф Коган, а Багрицкий – тоже еврей. У И. Уткина в «Повести о рыжем Мотеле, раввине Исайе и комиссаре Блох» само название выдает с головой национальность героя, отсюда – эти произведения признаны космополитическими. И. Эренбург писал (Новый мир. 1965. № 3. С. 123) о тех мытарствах, которые он претерпел при издании пятитомника его произведений. «Почти на каждой странице произведений, много

раз до того изданных, искали недозволенное. Случайно у меня сохранилась копия письма, отправленного в высокие инстанции в январе 1953 г., – я искал защиты. Помимо различных изменений в тексте, от меня требовали переменить некоторые фамилии в повестях „День второй» и «Не переводя дыхания». Эренбурга упрекали в том, что «в обеих книгах, написанных о русском народе, который вместе с другими народами строит заводы и преобразует Север, непомерно много фамилий лиц некоренной национальности».

Следовал список семнадцати таких фамилий (из двухсот семидесяти шести) в повести «День второй» и девяти фамилий (из ста семидесяти четырех) в «Не переводя дыхания». «Я подумал, – добавляет Эренбург, – а что делать с фамилией, которая стоит на титульном листе?» Эренбург из деликатности (а вернее всего – с оглядкой на цензора) не пишет, о какой «некоренной национальности» идет речь в требовании цензоров или редакторов книг, но это ясно из самих фамилий и из фамилии автора на титульном листе. Вся постановка вопроса о безродных космополитах, людях без рода, без племени, не имеющих родины, заключается в том, что им не дано понять творчества русских людей, русской и советской природы; они поэтому не имеют права ее касаться.

Идеологи борьбы с безродными космополитами, вероятно, запретили бы и Исааку Левитану, великому певцу русской природы, коснуться ее своей гениальной, но еврейской кистью. Не случайно, что в период борьбы с космополитизмом подверглось гонению творчество Багрицкого, Светлова, В. Гроссмана, был изгнан из Большого зала Консерватории портрет Мендельсона. Портрет этого выдающегося композитора XIX века, внесшего огромный вклад в музыкальную культуру не только своим замечательным творчеством, но и «открытием» Баха, до него малоизвестного композитора, был в настенном медальоне Большого зала вместе с другими композиторами мирового класса. «Вынос» портрета Мендельсона, украшавшего вместе с другими композиторами Большой зал Консерватории, был совершен в период борьбы с так называемым космополитизмом, бывшим словесным прикрытием самого откровенного, неприкрытого антисемитизма. «Вынесли» не Вагнера, другого немецкого композитора, но ярого немецкого националиста и шовиниста, кощунственно провозгласившего гений Бетховена принадлежавшим только Германии и ей служащим. Творчество Вагнера, замечательное в музыкальном отношении, было принято на вооружение гитлеровцами, т. к. он в нем якобы прославлял музыкой истинно германский дух. «Вынесли» соотечественника

Вагнера – немецкого еврея Мендельсона и заменили его Даргомыжским. Не углубляясь в сравнительную оценку творчества обоих композиторов – Мендельсона и его «сменщика», – существенно то, что при строительстве Большого зала Консерватории (в конце XIX века) общественный комитет, руководивший строительством, принял решение, что в медальонах должны быть только симфонисты (у Даргомыжского нет ни одной симфонии). Вопреки этому правилу, Мендельсона, пережившего в Большом зале Консерватории двух царей-самодержцев и царский антисемитизм, заменили Даргомыжским.

* * *

В советском обществе был накоплен многолетний опыт снятия портретов, в первую очередь – портретов провинившихся или обвиненных в каких-либо преступлениях политических и государственных деятелей. По внезапно исчезнувшим со стен портретам советские люди узнавали, что оригинал тоже бесследно исчез, по меньшей мере – с политического горизонта, а чаще всего – из жизни. Мендельсон не мог входить в эту категорию исчезнувших портретов. Периодически производится перетряска Досок почета на фабриках и заводах, в парикмахерских, пошивочных ателье, общественных столовых и ресторанах и т. д. Там, как известно, периодически меняется комплект фотографий передовиков производства по усмотрению «треугольника», состоящего из дирекции, партийной организации и профсоюза, и выставляется обновленная Доска почета, с которой на зрителей смотрят лица новых передовиков истекшего года. Однако в течение более полувека состав «передовиков музыкального творчества» в Большом зале Консерватории не меняется; была стабильной «Доска почета композиторов». Может быть, и здесь в середине XX века начал действовать общий принцип текучести персонажей Доски почета? Но кто были жюри периодического пересмотра сравнительной гениальности композиторов и кто из подлинных музыкальных художников согласился бы на такую роль?

По-видимому, в истории со снятием портрета Мендельсона был произвол чиновников от искусства, проявивших «здоровую советскую инициативу» на общем поприще борьбы с космополитизмом.

Просто Мендельсону не повезло: с его фамилией и его родословной эти чиновники сочли невозможным его соседство с другими русскими и иностранными великими композиторами во

имя арийской чистоты портретной галереи композиторов.

С идеями, заложенными в борьбе с космополитизмом в Советском Союзе, удивительно совпадают соображения по национальному вопросу фашиста, зятя Гиммлера, в диалоге с советским писателем Л. Гинзбургом. Фашист изрекал: «Нация – понятие крайне сложное, включающее в себя и этнографические, и психологические, и биологические моменты. Если хотите – и расовые. С этим необходимо считаться. Я не могу, например, назвать немецким писателем человека, который пишет по-немецки, но по причинам своего происхождения и биологической организации не в состоянии выразить самый дух той нации, языком которой он пользуется… Конечно, исключения возможны, но…» Реплика Гинзбурга: «Говоря об исключениях, наверное, вы подразумеваете Гейне?» Ответ фашиста: «Гейне – явление чрезвычайно противоречивое. Уроженец Рейна, человек восприимчивый, он в большой степени усвоил признаки немецкого духа, подтверждением чего является его „Лорелея»… Тем не менее Гейне так и не смог – да и не должен был! – преодолеть свое происхождение, и те его произведения, в которых пробивается это его начало, так и остались для нас чужими… Приведу пример более мне близкий – превосходного композитора Мендельсона-Бартольди. Можем ли мы считать его превосходную музыку немецкой?

Думаю, что ни в коем случае… Стало быть, национальная культура, так же как и сама нация, не терпит никаких примесей… К какой нации человек принадлежит, определяет только состав его крови».

Какое трогательное единство идеологии оголтелого фашиста и борцов с космополитизмом!

* * *

Борьба с космополитизмом и его проявлением – «низкопоклонством перед Западом», разумеется, вышла за пределы литературной и театральной среды. Везде надо было вести эту борьбу и выявлять своих космополитов.

Антиеврейская направленность борьбы была настолько откровенной, что ее было трудно прикрыть фиговым листком советского интернационализма. Даже бытовало двустишие: «Чтоб не прослыть антисемитом, зови жида космополитом». Но непрочный фиговый листок иногда прорывался, что создавало в этих случаях нежелательную ситуацию публичного нарушения политической девственности. Так было, например, в Институте

профессиональных заболеваний. Там подвергся суровой критике на ученом совете профессор-физиолог Н. А. Бернштейн, крупный ученый, автор замечательной монографии «Биомеханика движений», в которой были усмотрены патриотическими ортодоксами проявления «низкопоклонства». В защиту его от благородного негодования ортодоксов выступила молодая аспирантка, в святой простоте воскликнувшая: «Это – недоразумение, ведь Николай Александрович – не еврей!» В действительности Н. А. Бернштейн – коренной русский по национальности, но с нерусской фамилией (таких в России много, ведущих свое происхождение от шведов, французов, прибалтийских немцев и др.).

Борьба с космополитизмом не имела ничего общего с теоретической принципиальной дифференциацией двух понятий: космополитизм и интернационализм. Когда-то в трудах теоретиков марксизма они мирно уживались, научно анализировались и не были в такой острой непримиримой вражде, как в описываемый период 40-х годов. В борьбу с космополитизмом с логической последовательностью вплеталась борьба с «низкопоклонством» перед Западом (перед «иностранщиной», в ее жаргонном обозначении), перед его наукой, общей культурой, литературой, поэзией, искусством в его многообразных формах, и естественно, что победителем в этой борьбе была национальная русская и советская наука, культура, литература и поэзия, искусство. От тлетворного влияния Запада советские люди ограждались не только воспитательно-агитационными мероприятиями, но и системой ограничительных мероприятий для изоляции их от западных соблазнов и искушений. В эту систему включалась организованная недоступность иностранной научной и художественной литературы; изъятие из музеев шедевров западной живописи и крестовый поход на поклонников и пропагандистов ее в среде советских художников; активная пропаганда музыки русских и советских композиторов в противовес музыке западных композиторов и т. д. Особенно рьяными борцами с низкопоклонством были те беспринципные и невежественные лизоблюды, которых в большом количестве расплодил сталинский режим и которые с таким же усердием разоблачали «низкопоклонников» и «низкопоклонство», поносили Запад с тем же рвением, с каким до этого (да и после этого) лизали ему пятки и менее приличные места.

Борьба с космополитизмом вылилась в борьбу за выявление приоритета русских и советских авторов в области науки, техники, прикладного естествознания. Как это знает история

науки, нередко трудно установить, кто был первым, Этому даже посвящена специальная книга зарубежного автора под названием – «Кто первый?». В любой области науки можно проследить лестницу идей и фактов, завершившуюся последней ступенью в виде сформулированного научного закона, развернутой научной теории, технического воплощения. Тот, кому удался синтез всего накопленного его предшественниками, тот и имеет право на творческое авторство, а не тот, кто первый высказал соответствующую идею в абстрактной или гипотетической форме. Научное предвидение, несмотря на всю его иногда колоссальную роль в развитии соответствующей области науки, все же требует творческого развития, чтобы стать открытием. Часто необходимо добросовестное научно-историческое исследование для восстановления приоритета в тех случаях, когда он по разным причинам не был своевременно закреплен. Такой вклад в сокровищницу национальной науки должен быть внесен, как ее национальная гордость.

К сожалению, в советской медицинской и биологической науке погоня за приоритетами приняла в ряде случаев характер недостойной возни, оскорбительной для действительно огромного вклада, который внесли русские и советские ученые в мировую науку и который нигде не оспаривается, вызывая признательное восхищение. Эти соображения не были доступны беспринципным и невежественным борцам за приоритет отечественных ученых. Поскольку авторство ряда крупных исследований в восстановлении не нуждалось ввиду его полной и общепризнанной очевидности (например, И. П. Павлов), то свой пыл «квасные» патриоты направили на частные, иногда мелкие достижения, не имеющие большого значения. В своих поисках они опирались на общие приемы борьбы с космополитизмом и «низкопоклонством», и поддержкой им были установки временщика Лысенко на игнорирование «разлагающейся буржуазной науки».

Оторванное от мировой науки поколение медиков и биологов варилось в собственном соку и в соку невежества. Для наиболее же пронырливых деятелей массовый отрыв от зарубежной литературы облегчал использование ее для скрытого плагиата и выдачу его за оригинальное исследование. Так борьба с низкопоклонством и за приоритеты давала не только ореол патриотического борца, но была и меркантильно выгодной.

* * *

Борьба с космополитизмом с ее идеологической и политической платформы, разумеется, перешла и на платформу организационную. В московских медицинских вузах она была реализована в массовом изгнании профессоров и преподавателей еврейской национальности. Во 2-м Московском медицинском институте были уволены профессора Э. М. Гельштейн, И. И. Фейгель, Я. Г. Этингер, А. М. Гринштейн, А. М. Геселевич и другие. Все они – известные ученые и специалисты. Все упомянутые, кроме Геселевича, были арестованы по «делу врачей». Процедура увольнения и поводы к ней были стереотипными. Назначалась комиссия, обследовавшая работу кафедры и клиники, руководимой этими профессорами, с посещением лекций этого профессора. Разумеется, комиссия обнаруживала ряд крупнейших дефектов в работе этого профессора, выводы комиссии обсуждались на ученом совете института или только в партийной организации (если профессор был членом КПСС), после чего выносилось решение об увольнении профессора. Иногда председатель «разгромной» комиссии или активный ее деятель был лично заинтересован в изгнании зав. кафедрой, поскольку ему было обещано, что он будет ее наследником. Вообще же изгнание евреев-профессоров из медицинских вузов открыло неожиданный легкий путь к кафедрам многим бездарным тупицам, прозябавшим около науки без надежды на ее признание. Научная активность для них была бесперспективной, ведь здесь требуются способности. Проще было использовать свою политическую локтевую активность, патриотически направленную против космополитов; она была беспроигрышной по результатам. Высшее руководство имело представление о том, как массовое увольнение опытных педагогов и ученых-медиков отразится на педагогическом, лечебном и научном процессе. Но оно, не скрывая этого, смотрело на это, как на необходимую острую болезнь, которой надо переболеть во имя светлого будущего медицинских вузов Москвы, Ленинграда и крупных центров без евреев. Сами же преемники вакантных мест без страха и сомнения занимали их. Они были убеждены в том, что ум присваивается вместе с должностью. Этот принцип, сформулированный великим русским сатириком, они приняли всерьез, как догму и как руководящее жизненное правило.

Процедуру изгнания человека из той области, в которую он вложил весь свой талант ученого и педагога, могу иллюстрировать изгнанием моего близкого друга Э. М. Гельштейна.

Э. М. Гельштейн являлся одним из типичных представителей

того поколения медицинских работников, которое активно участвовало в становлении советской медицины в ее практической и научной части, в подготовке и воспитании кадров врачей, покрывших себя славой в Великую Отечественную войну.

Э. М. Гельштейн быстро выдвинулся в первые ряды творческой медицинской молодежи, и не было ничего неожиданного в том, что коммунисту Э. М. Гельштейну в 1931 году (ему было в это время 34 года) было предложено занять кафедру терапии и факультетскую терапевтическую клинику во 2-м Московском медицинском институте. В течение 21 года с перерывом в период Великой Отечественной войны он с блеском руководил этой кафедрой, проявив талант педагога и организатора научного и лечебного процесса. Во всех этих областях его работа неоднократно получала одобрение с разных сторон. К началу Отечественной войны Э. М. Гельштейн имел прочно сложившуюся репутацию выдающегося ученого-клинициста. Он был первым крупным советским ученым-медиком, в первые же дни Отечественной войны он одновременно со мной заявил о желании добровольно вступить в Советскую Армию. Он получил назначение на Ленинградский фронт на должность главного терапевта фронта.

Надо ли говорить о тяжести этого фронта в условиях блокады. Работа Гельштейна была отмечена рядом правительственных наград, присвоением ему почетного звания заслуженного деятеля науки. Блокадная гипертоническая болезнь, поразившая многих людей осажденного Ленинграда, не пощадила и его, и он возвратился с фронта с тяжелой формой этой болезни, закончившейся его ранней смертью в 1955 году. После демобилизации он вернулся в клинику к обычной работе, мужественно преодолевая болезнь и скрывая ее от окружающих.

Но постепенно над его головой начали сгущаться тучи, одновременно или с небольшой задержкой сгущавшиеся и над другими аналогичными головами. Атаку открыла многотиражная газета 2-го Московского медицинского института инспирированной статьей, в которой вся деятельность профессора Гельштейна подвергалась не критике, а поруганию. Это был наглый пасквиль в стиле того времени, в котором охаивались и его лекции, на которые якобы студентов загоняли силой, и общее руководство клиникой, и научная работа. Это был удар, потрясший самолюбивого профессора беззастенчивым, наглым искажением действительности, с полным откровенным простором для безнаказанной клеветы.

На эту атаку Э. М. Гельштейн реагировал чрезвычайно тяжело – с личных позиций незаслуженной обиды; он не видел в ней

общественного явления, сфокусированного в данном случае на нем. Затем события развернулись по обычной схеме с привлечением в атаку некоторых сотрудников кафедры (особенно одну из ближайших сотрудниц), обсуждением его деятельности на партийном собрании в обычном стиле того времени. Здесь же на собрании у него развился инфаркт сердца. Затем последовало обсуждение материалов комиссии, подтвердивших, конечно, материалы статьи и дополнивших ее клеветнический характер. Он позвонил мне утром после этого заседания, прося заехать к нему, и я никогда бы не мог себе представить этого гордого, самолюбивого и сдержанного человека в безудержных рыданиях, в которых я его застал. В этих рыданиях уже немолодого человека, прожившего жизнь в окружении всеобщего признания его достоинств человека ученого, с всеобщим уважением, была глубокая боль от незаслуженной обиды. Это не прошло бесследно для его сердца, подорванного в ленинградской блокаде, развились новые инфаркты с последующей аневризмой сердца, и он сам подал заявление об уходе с кафедры.

В 1953 году он также был арестован по «делу врачей» и вскоре (в 1955 году) умер.

* * *

Попутно я должен коснуться некоторых событий, имевших непосредственное отношение к включению меня в круг «убийц в белых халатах», характеристики общей обстановки в медицинском мире, предшествовавшей «делу врачей», и некоторых лиц.

В числе сотрудников по прозектуре 1-й Градской больницы была Клеопатра Горнак. Это была в описываемую пору довольно миловидная молодая женщина, мещаночка по культурному уровню и жизненным запросам, среднего уровня интеллектуальности, компенсируемой хитрецой с средними профессиональными способностями, но с карьеристской хваткой. В 1940 году она была направлена ко мне в аспирантуру, но мое научное руководство было прервано осенью 1941 года войной и моим участием в ней, а практическое – возобновилось только в конце 1945 года в прозектуре больницы, в штате которой она состояла.

Некоторые детали ее положения в прозектуре и взаимоотношений со мной я вынужден осветить, поскольку они получили звучание в событиях 1953 года.

За время моего многолетнего пребывания на фронте

Клеопатра Горнак установила постоянный контакт с профессором Б. Н. М. В течение всего этого периода Б. Н. осуществлял руководство Клеопатрой Горнак, дал ей диссертационную тему, примитивную по замыслу и бездарную по ее научному смыслу, но беспроигрышную по требованиям того времени к кандидатским диссертациям. Ее заинтересованность в сохранении связи с Б. Н. определялась более легким достижением кандидатской степени, чем с моей требовательностью.

По линии практической работы патологоанатома, т. е. по больничной прозектуре, Клеопатра Горнак была в моем подчинении, но двойственность положения создавала известную напряженность отношений.

Однажды летом 1951 года (или 1952 года – точно не помню) Клеопатра Горнак сообщила мне, что ее вызывают на следующий день в МГБ и что причину вызова она не знает. Мне до сих пор не ясно, почему она информировала меня об этом, тем более что всякий вызов в это учреждение сопровождался предупреждением о секретности. Несомненно она догадывалась (или уже знала), что этот вызов связан со мной, и, может быть, из лучших побуждений хотела предупредить меня об этом. Когда же я спросил ее после визита в МГБ о причине вызова (после ее информации об этом визите я имел право на такой вопрос), то она сказала, что ее вызывали в связи с пропиской ее матери в Москве (она приехала с Украины), но содержание ответа и его форма не оставляли сомнения в том, что это подготовленная и, вероятно, продиктованная увертка. Она, возможно, получила задание наблюдать за моей деятельностью.

Она стала держать себя более независимо и даже вступать со мной в дискуссии при обсуждении данных отдельных вскрытий, где, по ее мнению, обнаруживались грубые недостатки лечения. Я несколько раз делился с профессором А. Б.

Топчаном, главным врачом больницы и моим другом, о сложности моих взаимоотношений с Клеопатрой Горнак, и однажды, когда я высказал желание избавиться от нее, ему изменила его постоянная сдержанность и в сильном возбуждении он шепотом воскликнул: «Если мы ее тронем пальцем, то завтра нас с тобой здесь не будет, понял?» Этим он ясно дал мне понять, что ему известно, как руководителю учреждения, о роли Клеопатры как информатора МГБ.

Забегая вперед, скажу, что даже детали моих взаимоотношений с Клеопатрой Горнак и роль в них Б. Н. М. были известны в МГБ, что стало ясно из некоторых реплик моего следователя.

Мне запомнился конфликт с Клеопатрой Горнак, возникший

при анализе материалов одного вскрытия и раскрывший ее роль, поскольку этот случай выплыл в процессе следствия. Речь шла о молодой женщине, родившей в акушерско-гинекологической клинике профессора И. И. Фейгеля (он тоже был в дальнейшем в числе «врачей-убийц») здорового ребенка. Спустя несколько дней после родов у нее возникли тяжелые явления со стороны головного мозга, от которых она погибла. Вскрытие производила Клеопатра Горнак, и, зайдя в секционный зал к концу вскрытия, я застал следующую немую картину: по одну сторону секционного стола с вскрытым трупом женщины стоит в обличительной позе Клеопатра Горнак, по другую сторону – бледный как полотно, помертвевший, раздавленный профессор И. И. Фейгель и несколько его сотрудников в таком же состоянии. Разъяснение этой драматической сцены я получил от Клеопатры Горнак: она обнаружила тромбоз венозных сосудов твердой оболочки мозга с тяжелыми расстройствами мозгового кровообращения и объяснила развитие тромбоза сепсисом, т. е. послеродовым заражением крови.

По реакции профессора И. И. Фейгеля и его ассистентов было очевидно, что в этом заключении содержалась какая-то устрашающая угроза, повергшая их в шок.

Послеродовой сепсис – неприятное событие для родильного дома. Каждый случай такого осложнения обсуждается в специальной комиссии из специалистов-акушеров с детальным выяснением всех обстоятельств его возникновения, с принятием ряда эпидемиологических мероприятий для профилактики его распространения в роддоме. Это – чрезвычайное происшествие, но не такое уж исключительное, чтобы повергать в мистический ужас стоящих у секционного стола врачей, особенно – профессора Фейгеля, заведующего клиникой. Как правило, сепсис у роженицы источником своим имеет какой-то болезненный очаг, имевшийся у нее, и чрезвычайным происшествием является внесение инфекции медицинским персоналом при родовспоможении. В нормальных условиях все эти обстоятельства устанавливаются объективным и тщательным анализом, в котором клиника всегда бывает заинтересована. В данном случае, по-видимому, она не могла рассчитывать на такую объективность, очевидно, для этого не было нормальной обстановки. Отсюда – ужас перед последствиями, оправдываемый предысторией, непосредственно предшествовавшей описываемым событиям. Предыстория же такова. На профессора Фейгеля, члена КПСС, в течение некоторого времени велась энергичная атака, как и на многих профессоров еврейской национальности, заведующих кафедрами во 2-м Московском медицинском институте. Атакующие

действовали по стереотипному шаблону. Они стремились доказать профессиональное несоответствие профессора руководству клиникой – И. И. Фейгель до того времени успешно руководил клиникой на протяжении более 20 лет. Кроме того, ему инкриминировались какие-то опыты на русских (именно!) женщинах, наносящие ущерб их здоровью. Главарем атакующей группы был профессор Ж.

Для меня стали очевидны та сила и те средства атаки, которым подвергается профессор Фейгель, и поэтому не было ничего удивительного в том, что заключение Клеопатры Горнак о послеродовом сепсисе прозвучало для него похоронным звоном. До сих пор я не могу решить, было ли это заключение только результатом невежества, поскольку каких-либо общеизвестных, классических признаков сепсиса не было ни в клинической картине болезни, ни в материалах вскрытия. Единственной находкой на вскрытии был тромбоз вен твердой мозговой оболочки, и, не имея в своей эрудиции объяснения причины его развития, она привлекла совершенно произвольное, лишенное обоснования объяснение: сепсис с тромбозом вен оболочек мозга. Для того чтобы раскрыть для читателя абсурдность такого заключения, следовало бы изложить патологию сепсиса и критерии его диагностики в клинике и на секционном столе.

Общедоступным языком сделать это чрезвычайна трудно. Поэтому прошу верить моему более чем полувековому опыту и моей эрудиции: сепсиса здесь не было даже в намеке. Как показал анализ истории болезни, у роженицы были до родов нарушения в составе крови, которые явились основой для развития тромбоза в послеродовом периоде с нередкой наклонностью в этом периоде к нарушениям в свертывающей системе крови. Однако Клеопатра Горнак, по-видимому, решила остаться верной своей невежественной версии, и случай этот, наряду с другими, был в моем уголовном досье в МГБ в качестве одного из доказательств сокрытия мной преступных действий евреев-профессоров.

Что касается профессора Фейгеля, то его судьба, как заведующего кафедрой, была предрешена, а освободившуюся кафедру получил атакующий Ж.

При таком профессиональном и этическом уровне профессор Ж. в моих действиях, совершенно корректных и объективных (тем более, что я знал, с кем имею дело), усматривал при деловых контактах и стремление нанести ущерб его профессиональному достоинству.

Однажды при случайной встрече в фойе Дома ученых осенью 1952 года он выразил мне в каких-то неопределенных выражениях его оценку моих действий и заключил ее словами:

«Ну, ничего, ничего, скоро Вы узнаете…» Что я узнаю, он недосказал, остановился, но в этих словах была совершенно открытая угроза, и я действительно «скоро узнал…». В одном из предъявленных мне обвинений – скрытые злодеяния еврейских террористов и дискредитация честных советских ученых – я легко узнал участие Ж.

Рассказанные истории – типичный пример для того времени; вариации могли касаться только реакции сердца в зависимости от эмоциональной устойчивости субъекта (разовьется или не разовьется инфаркт!).

* * *

Подобные события отнюдь не способствовали созданию и сохранению обстановки в вузе, необходимой для творческой, научной и педагогической работы. На еще не изгнанных профессоров давило ожидание изгнания и психологическое давление общей атмосферы. Многие профессора, независимо от их национальной принадлежности, жаловались на напряжение, с которым они читали лекции; чрезвычайно мешала скованность, из-за боязни не так выразиться, быть неправильно понятым, дать повод для политического искажения формулировок и т. д. Лекции подслушивались «уловителями» «космополитических и других идеологических извращений» (медицину надо было оберегать от них!).

Боялись использования технических достижений для такого подслушивания (магнитофонные замаскированные записи). Все это создавало иногда трагикомические ситуации и эпизоды. Один из них, характерный для описываемой эпохи, заслуживает передачи.

Действующие лица этого эпизода: 1. Профессор А. М. Чарный, зав. кафедрой патологической физиологии Центрального института усовершенствования врачей, человек крайне осторожный и живущий в постоянной боязни неприятностей и их ожидании. 2. Профессор Ш. Д. Машковский, член-корреспондент Академии медицинских наук, заведующий кафедрой паразитологии того же института, ученый с мировой известностью, безупречной порядочности и высокой общей культуры.

Однажды в осенний вечер 1952 года у меня в кабинете раздался звонок, и я услышал взволнованный голос А. М. Чарного. Передаю разговор с ним почти дословно. «Яков Львович, скажите, профессор М., кажется, Ваш друг?» Я, разумеется,

ответил утвердительно (он один из ближайших многолетних друзей моих и всей семьи). «В таком случае, – продолжал А. М. Чарный, – я должен Вас предупредить, чтобы Вы были с ним осторожны, он подлец и провокатор!» Я сначала даже не понял, о ком идет речь, поскольку такая характеристика никак не ассоциировалась с личностью Ш. Д. Машковского, и, переспросив А. М. Чарного, о ком идет речь, получил подтверждение, что речь идет именно о Ш. Д. Машковском. На вопрос «Что произошло?» А. М. ответил, что я еще не знаю о его выступлении в сегодняшнем заседании совета профессоров института. Я был потрясен. Я не допускал мысли о каком-либо подлом поступке Ш. Д.

Машковского, но подумал, что, возможно, он, вследствие плохой ориентации в общей обстановке, допустил какой-нибудь ляпсус, вызвавший такую характеристику. Оказалось, что «провокационное» выступление Ш. Д. Машковского заключалось в том, что он говорил о желательности снабжения кафедр магнитофонами для записи лекций. У меня отлегло от сердца. Я вспомнил, что Ш. Д. Машковский неоднократно выражал сожаление об отсутствии магнитофона, т. к. многие интересные мысли, возникающие по ходу чтения лекции, потом ускользают из памяти. Я полностью разделял это желание Ш. Д. Машковского, т. к. всякая лекция, если она не стандартно и стереотипно вызубренная, действительно творческий процесс, заслуживающий фиксации в записи. Я спросил у А. М. Чарного, в чем же он усматривает подлый, провокаторский характер этого выступления, и сказал, что соображения о необходимости магнитофона я неоднократно слышал от Ш. Д., на что Чарный ответил: «Как! Вы разве не понимаете, что он хочет, чтобы лекция была записана на магнитофон!» Я понял опасения А. М. Чарного. Патологическая физиология – одна из основных теоретических дисциплин в медицинском курсе, а в теории медицины в ту пору был полнейший разброд, особенно в связи с происходившими дискуссиями, и любое высказывание могло оказаться крамольным или быть признанным таковым чиновными блюстителями методологической чистоты в теориях медицины. Недостатка в таких чиновниках, даже с учеными степенями и званиями, желающих погреть карьеристские руки на методологической бдительности, не было. Я видел в этом эпизоде только комическую сторону, хотя смешного в нем, по существу, мало, но Ш. Д. Машковский был крайне смущен, когда узнал о неожиданной интерпретации его невинного для нормального общества выступления.

Я не могу охватить весь политический горизонт периода, предшествовавшего «делу врачей» и подготавливавшего его. Я

могу лишь осветить его с точки зрения личных восприятий, как мощного психологического напора, идущего из разных областей общественной жизни и закончившегося этим «делом». Арестована академик Л. С. Штерн. Разгромлен и арестован еврейский антифашистский комитет почти в полном его составе. Трагическая судьба его – казнь всех 12 августа 1952 года – стала известна позднее. Это был расстрел еврейской культуры в СССР, уничтожение лучших ее носителей. До этого – трагическая гибель (преднамеренное и организованное убийство) замечательного артиста С. М. Михоэлса (Вовси). Наконец, процесс Сланского в Чехословакии.

Здесь впервые прозвучали откровенные антиеврейские нотки – участие «сионистов» в чудовищных преступлениях, их сотрудничество с гестапо, роль в гибели Фучика. В этом же процессе участвовали и врачи, обвинявшиеся в злонамеренном, ведущем к гибели лечении своих пациентов из круга видных политических деятелей Чехословакии. Помню свою оценку этого известия и впечатление, произведенное им на меня. Не надо было быть пророком, чтобы предвидеть, что этот процесс и его идеологическая основа – прелюдия к развитию аналогичных явлений и у нас, что в этом вопросе мы не отстанем от Чехословакии. Да и ясно было, что инициатива здесь исходила не от Чехословакии – аналогичного опыта еще у них не было. Для меня было также ясно, что антиеврейские нотки в этом процессе и участие в нем врачей – действительно только прелюдия к постановке его и у нас в более мощной форме, в соответствии с величиной державы. Все лето и осень 1952 года были под угнетающим впечатлением этого дела.

* * *

Были и более мелкие симптомы в советском медицинском и непосредственно окружающем меня мире. Симптомы начались еще до дела Сланского, некоторые дошли до меня значительно позднее, и я о них не подозревал; это были, выражаясь медицинскими терминами, скрытые симптомы продромального периода, который, как впоследствии выяснилось, был довольно длительным. Первый откровенный симптом был зимой 1950/1951 года в виде телефонного звонка в мою квартиру на Б. Афанасьевском переулке. В ответ на мое «алло» я услышал глуховатый голос, без всякого обращения сказавший: «Слушайте и не повторяйте, никому ничего не говорите. Говорят из МГБ. Завтра в 3 ч. дня будьте на Волхонке у дома N… (кажется, 7). Вас

встретят». Тон был абсолютно императивный и не допускавший возражений или отговорок. Надо ли говорить, как я был взволнован этим приглашением, о смысле и цели которого я не строил никаких догадок. Я только понимал, что шутить с этой организацией нельзя и что придется идти. В назначенное время я был у этого дома; ко мне подошел высокий мужчина (я не помню – в шинели сотрудника МГБ или в штатском пальто) и пригласил войти в квартиру на первом этаже, двери которой открывались прямо на улицу. Это была, судя по обстановке, обычная жилая квартира из нескольких комнат.

В одной из них сидела какая-то женщина с внешностью домработницы, которая что-то шила или вышивала и, когда мы проходили мимо нее, не обратила на нас никакого внимания. Что это была за квартира, – обычная ли жилая квартира, принудительно заарендованная у хозяев для «деловых свиданий», или квартира специального назначения в системе МГБ для той же цели, – для меня осталось загадкой, над которой я не стал ломать голову, хотя сама обстановка удивила меня своей обывательской будничностью и мещанским уютом. Я со спутником прошел в крайнюю из комнат, и произошла «задушевная» беседа.

Началась она с вежливого осведомления о моем здоровье и самочувствии и еще с каких-то осведомительных общих вопросов, на которые я давал такие же общие ответы. В большом, но тщательно скрываемом напряжении я все ж ждал даже с некоторой долей любопытства раскрытия тайны моего приглашения: не для осведомления же о моем здоровье меня пригласили. Эта тайна скоро раскрылась.

Капитан начал с информации о сложной и тревожной общей политической ситуации, в которой находится страна, окруженная со всех сторон врагами, что враги находятся и внутри страны, тщательно маскируясь, и что необходима неусыпная бдительность для обезвреживания их коварных замыслов. Для этой благородной цели МГБ нуждается в моей помощи. Короче говоря, я сразу понял, что идет вербовка меня в осведомители.

Я недоумевал, почему выбор пал на меня, чем они руководствовались, но это я понял позднее. Из дальнейшей беседы (она носила в большей степени односторонний характер) я понял, что моего собеседника специально интересует настроение еврейской части населения Москвы: разговоры, которые ведут евреи между собой (на каком языке?), особенно те, в которых затрагиваются политические проблемы, в частности, связанные с США и Израилем.

Занятая мной позиция в этом собеседовании отнюдь не была оригинальной.

Существо моей позиции стереотипное: я – советский человек и член КПСС, и, если бы я заметил какие-либо подозрительные действия или явления, мой долг был бы немедленно сообщить о них в соответствующие органы, не дожидаясь приглашения в сотрудники. В последние же я абсолютно не гожусь по общему складу своего характера, К тому же по роду своей деятельности я больше имею дела с трупами, чем с живыми людьми. Объем и характер моей информированности крайне ничтожен, а круг лиц, с которыми я общаюсь, ограничен небольшим числом медиков, главным образом профессоров, и контакты с ними имеют чисто профессиональный характер. Тогда мой собеседник просил назвать лиц, с которыми я общаюсь. Перечень мой содержал профессоров, с которыми у меня существует непосредственное общение (Абрикосов, Аничков, Виноградов, Лукомский, Бакулев, Преображенский, Давыдовский и др.). Я не мог не включить в группу лиц, с которыми я встречаюсь, моих самых близких друзей – Э. М. Гельштейна и А. А. Губера, полагая, что мои многолетние дружеские связи с ними, безусловно, уже известны. Все указанные мной фамилии были записаны собеседником. Этот список во время моего пребывания под следствием по «делу врачей» фигурировал и обсуждался в допросах. Капитан интересовался моим служебным положением, жилищными условиями, говоря, что его организация может их значительно улучшить. От этого содействия я категорически отказался, ссылаясь на отсутствие у меня необходимости в их улучшении. В общем, как говорится в официальных бюллетенях, стороны после длительного собеседования ни к какому соглашению не пришли, и мой собеседник при расставании не скрыл разочарования и недовольства по этому поводу.

* * *

Я полагал, что «инцидент» этой встречей исчерпан и я буду оставлен в покое. Но я недооценил настойчивости «органов» в достижении своих целей и того, что они рассчитывали не только на квартирную и служебную приманку, как на пряник, но и на кнут, который был в их руках и который был пущен в ход в дальнейшем.

Спустя некоторое время после этой встречи (я не помню – какое) снова раздался телефонный звонок, и я услышал уже знакомый мне голос, пригласивший меня явиться на следующий день в вестибюль гостиницы «Москва» к 4 часам дня, где он меня встретит у газетного киоска. Я попытался уклониться от встречи

ссылкой на свою служебную занятость в этот день, но, конечно, это было наивной отговоркой. Капитан обещал, что он договорится с руководством института о том, чтобы меня освободили к этому часу от служебных дел. Он отлично понимал, что я предпочту сам урегулировать этот вопрос, чем прибегнуть к посредничеству «органов». Шел я на это свидание уже снабженный опытом первого и с твердым решением бескомпромиссного, твердого и резкого отказа, с готовностью на все, вплоть до самого худшего. Я решил, что не должен оставить у них и тени сомнения в том, что им не удастся меня сломить в моем решении, что оно должно быть категоричным без всяких оттяжек и увиливаний, вроде – я подумаю, взвешу, потом дам ответ и т. д. Я понимал, что если в моих ответах будет хоть ничтожная, микроскопическая щель, то они в нее влезут. И я шел на это свидание с полной готовностью к тому, что я с него не вернусь. У киоска меня встретил тот же капитан, в лифте поднял меня на какой-то этаж и ввел в гостиничный номер, где нас ждал, сидя в кресле, военный в форме полковника МГБ (чин по тому времени высокий). Завязался разговор в стереотипном содержании, но уже с совершенно откровенным подчеркиванием, что МГБ нужны сведения о евреях, что нужно знать об их настроениях, антисоветских намерениях и что здесь нужна не моя патриотическая и партийная самодеятельность, а направленная и регулируемая деятельность. Эта часть разговора шла в резком ключе. Полковник сказал, что их интересует многое, например, о чем говорят за обеденным столом в интимном кругу у начальника Главугля. Он назвал еврейскую фамилию начальника, которую я тут же забыл. Может быть, я перепутал его должность, но в ее названии слово «уголь» было. Я удержался от вопроса о том, как я могу попасть за стол к этому «углю», о котором понятия не имею (как и он обо мне), т. к. сообразил, что в этом вопросе будет та самая щель, которой я опасался, и что заботу обеспечить меня застольем у «угля» они возьмут на себя. Полковник держал в руках список лиц, с которыми я встречаюсь, записанный капитаном при первой встрече, и, упершись в фамилию «Губер», сказал, что следовало бы его «прощупать». Я сказал, что Губер не медик, а искусствовед, на что полковник подал реплику, что искусствоведы их тоже интересуют. Но я добавил, что Губер – не еврей, а 100-процентный русский, после чего интерес к нему со стороны полковника сразу угас. Возник вопрос об Израиле, о мечте евреев уехать туда.

Я сказал, что о таких мечтаниях мне ничего неизвестно, по крайней мере от тех евреев, с которыми я встречаюсь, а если таковые имеются, то, по моему мнению, в них Советский Союз не

нуждается, пусть едут. На это последовала реплика полковника: «А если мы не заинтересованы в их отъезде?» Постепенно тон полковника из первоначально спокойного, хотя и враждебно-холодного, стал возбужденно-резким, после моего совершенно категорического отказа с ссылкой на то, что по общему складу своего характера я для роли осведомителя не гожусь и что я не слышал ни разу никаких криминальных высказываний от моих собеседников евреев. Тогда он задал мне в лоб вопрос: «И вы никогда не слышали, как ученые-евреи говорят, что головы у нас не хуже, чем у американских ученых, а работаем мы хуже?» Я внутренне похолодел. Я сразу узнал эту фразу: она принадлежала мне. Я произнес ее в беседе с одним отдыхающим в санатории «Истра» зимой 1949/1950 года. Я говорил ему о постановке дела в наших научных институтах, что, несмотря на большие затраты на науку в СССР, в силу плохой организованности научной работы, научная отдача у нас низкая, хотя головы наши не хуже, чем у американских ученых.

Услышав от полковника эту фразу, вырванную из контекста осведомителем (собеседник безусловно был им), я понял, что я на крючке, что это тот кнут, которым хотят меня запугать и заставить сдаться. Я сделал вид, что просто не понимаю криминального смысла этой фразы, и, по-моему, она свидетельствует о патриотизме автора ее, его заботе, о советской науке. В общем, разговор окончился руганью (разумеется, односторонней) и приказом: «Убирайтесь вон», отнюдь не обидевшим меня грубой формулировкой. Я с радостью его исполнил, унося ощущение, что такое внимание к евреям (1950 г.) – грозный, зловещий признак.

* * *

На этом, однако, эпизод с вербовкой меня в осведомители не кончился.

Кончился он осенним вечером 1950 года или весной 1951 года, когда я получил вызов явиться в военкомат по адресу какого-то переулка на Сретенке, т. е. в районе Лубянки, а не в моем районе. Не надо было быть очень сообразительным, чтобы понять, каков в действительности этот военкомат в районе Лубянки, вдали от моего района и вблизи от МГБ. Я ничего не сказал жене, но решил, что на случай моего неожиданного исчезновения она должна быть информирована о его причине. Поэтому я отнес моим самым близким друзьям те небольшие денежные сбережения, которые у меня были, скромные семейные

ценности и предупредил друзей о моем возможном невозвращении из «военкомата». В пустынном помещении военкомата я застал ожидавшего меня молодого человека, под диктовку которого я написал о своем отказе от связи и сотрудничестве с органами МГБ и обязательство о сохранении в тайне переговоров, которые со мною вели. Все это я без колебаний подписал. На этом вся эпопея с вербовкой в осведомители кончилась, и она снова всплыла лишь в ходе следствия по «делу врачей».

Процитировав меня самого, полковник дал мне ясно понять, что я у них на виду не только как потенциальный, но неудавшийся сотрудник, но и как потенциальный объект их основной деятельности. Впрочем, к этой мысли многие советские люди привыкли, сжились с ней. Она все время существовала в подсознании, откуда сигналы обреченности периодически прорывались в сознание «при каждой новой жертве боя». Но великая сила приспособляемости человеческой психики допускала «мирное сосуществование» этой реальности с повседневной работой, с повседневными заботами, с волнениями профессионального, творческого и бытового характера. Про себя, а иногда вслух в обществе близких и проверенных друзей я лишь цитировал ироническую фразу из «Бориса Годунова» – «Завидна жизнь Борисовых людей…». Так живущая в подсознании уверенность в неизбежности финала естественного жизненного пути не мешает ощущать жизнь во всей ее многогранности, сохранять остроту вкуса к ней и радоваться ей. Поэтому дыхание Лубянки, в конце концов, вытиснилось из эмоциональной сферы и только всплывало в памяти, как memento mori – помни о смерти (эту сентенцию некоторые шутники переводят, как «не забудь умереть»).

Репрессии

Надвигался 1952 год. Сгущение политической и общественной атмосферы нарастало удушающими темпами. Чувство тревоги и ожидания чего-то неотвратимого достигало временами мистической силы, поддерживаемое реальными фактами, один за другим наслаивающимися на общий фон. В декабре 1950 года арестован профессор Я. Г. Этингер и его жена. Их аресту предшествовало таинственное исчезновение их приемного сына – Яши, студента Московского университета. Он утром ушел в университет и бесследно исчез. Я. Г. Этингер строил разные предположения насчет его исчезновения.

Пользуясь своими личными связями с крупными работниками Министерства госбезопасности (МГБ), которых он лечил, он обращался к ним за помощью в розысках пропавшего сына, который, может быть, пал жертвой преступления со стороны каких-либо его товарищей, завлекших его для этого за город. Его заверили именитые пациенты из МГБ, что принимаются все меры к розыску пропавшего, но пока они безрезультатны. Как и следовало ожидать, он в это время находился в заключении МГБ, будучи арестован на улице по дороге в университет. На языке МГБ этот прием носил название «секретное снятие», цель которого в данном случае совершенно неясна, если исключить заведомое садистское стремление доставить дополнительные волнения профессору. Впрочем, пути МГБ неисповедимы. Накануне ареста Я. Г. Этингера я его навестил, настроение было чрезвычайно подавленное у этого всегда самодовольного человека. В последующие дни я неоднократно звонил ему по телефону, чтобы узнать, нет ли сведений об Яше, но на звонки никто не откликался.

Нетрудно было догадаться, что за этим молчанием скрывается «что еще», но проверка догадки не заставила долго ждать. Канули в трагическую неизвестность также писатели, поэты, литераторы, артисты, ученые – члены еврейского антифашистского комитета. Та же судьба постигла академика Л. С. Штерн. Летом 1952 года (а некоторые в 1951 году) из кремлевской больницы были изгнаны без объяснения причин многие выдающиеся клиницисты, работавшие там много лет в качестве консультантов, лечившие выдающихся деятелей Советского государства. В их числе – М. С. Вовси, В. Н. Виноградов. Арестованы бывший начальник санупра Кремля, т. е. кремлевской больницы А. А. Бусалов, профессор П. И. Егоров, профессор Я. Г. Этингер, врач С. Е. Карпай. Отстранены от работы

академик А. И. Абрикосов и его жена Ф. Д. Абрикосова-Вульф (патологоанатом) и многие другие.

С опозданием я узнал о том, что из числа патологоанатомов первой жертвой, попавшей под тяжелый удар (арестован), был рядовой сотрудник патологоанатомического отделения кремлевской больницы А. Н. Федоров. После освобождения он вскоре исчез из моего поля зрения, и я, к сожалению, ничего не могу сообщить ни о его дальнейшей жизни, ни об инкриминированных ему обвинениях (вероятно, были стереотипы, и он, по-видимому, не был информирован о том, чем вызван интерес к некоторым сторонам его деятельности в больнице).

Мелкий, но характерный штрих того периода. Он касается моей старшей дочери – Ноэми (Ляля), окончившей летом 1952 года 2-й Московский медицинский институт. При распределении оканчивающих на работу ей дали назначение в распоряжении МГБ на Сахалин, т. е. практически обслуживать концентрационный лагерь. Назначение она приняла безропотно, оценивая ситуацию. Я понимал, что в этом назначении, которое может выдержать здоровый мужчина, а не слабая девушка, сыграла роль личность отца, т. е. моя, и решил изложить свою оценку зам. министра здравоохранения А. Н. Шабанову. Тот с ней, по-видимому, согласился, неожиданно вырвавшимся восклицанием: «Да, это уже чересчур!» Назначение было заменено направлением в Великие Луки, которое начальник Управления кадров Минздрава изменил на Торопец, куда она и отправилась работать.

* * *

Наступила глубокая осень, последняя осень сталинской эпохи. События приближались к их кульминационному пункту. Из уст в уста передаются слухи один страшнее другого. Органами МГБ раскрыт «еврейский» заговор на Московском автомобильном заводе. Произведены массовые аресты, внесшие опустошение в руководящий инженерный состав. Попытки директора завода Лихачева, чье имя носит сейчас завод, вмешаться в эту акцию остались тщетными. Раскрыты «еврейские» заговоры в Московском метрополитене и другие.

Поползли по Москве зловещие слухи, проверка которых была сопряжена с большим риском. Говорят, что арестованы профессора М. С. Вовси, Б. Б. Коган, В. Н. Виноградов, А. И. Фельдман, но как проверить эти слухи? Нельзя проявлять

активного интереса к ним и даже произносить интересующие вас фамилии – это опасно. Надо делать вид, что ничего не произошло. Но постепенно приходило подтверждение слухов разными путями. Сын В. Н. Виноградова – В. В. Виноградов (теперь профессор-хирург) был ассистентом А. Н. Бакулева, клиника которого помещалась в 1-й Градской больнице. Однажды он пришел в прозектуру по какому-то делу, вид у него был убитый; я осторожно спросил: «Что с отцом?» Он ответил кратко: «Плохо». Все стало ясно. Количество арестованных профессоров-медиков нарастало (В. Х. Василенко, А. М. Грин-штейн, его жена профессор Попова, Б. С. Преображенский, М. Н. Егоров и многие другие).

Медицинский мир не только подавлен, он раздавлен. Никто не понимал в чем дело, но ясно было, что речь идет о «раскрытии» обширного заговора медицинской верхушки, и каждый еще находящийся на свободе член этой верхушки ждал своей участи. Я помню встречу наступающего Нового, 1953 года в кругу близких друзей. Настроение было далеко не праздничное, никто не ждал от наступающего года ничего хорошего и, конечно, не думал, что этот год станет годом освобождения. Я поднял тост за свободу, в ее банальном, обывательском, а не философском смысле.

Наступил памятный день 13 января 1953 года. Наконец грянул гром, и все прояснилось из сообщения ТАСС в отделе хроники, текст которого я привожу.

«1953, 13 января. Хроника.

Арест группы врачей-вредителей.

Некоторое время тому назад органами госбезопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью, путем вредительского лечения, сокращать жизнь активным деятелям Советского Союза.

В числе участников этой террористической группы оказались: профессор Вовси М. С., врач-терапевт; профессор Виноградов В. Н., врач-терапевт; профессор Коган М. Б., врач-терапевт; профессор Коган Б. Б., врач-терапевт; профессор Егоров П. И., врач-терапевт; профессор Фельдман А. И., врач-отоларинголог; профессор Этингер Я. Г., врач-терапевт; профессор Гринштейн А. М., врач-невропатолог; Майоров Г. И., врач-терапевт.

Документальными данными, исследованиями, заключениями медицинских экспертов и признаниями арестованных установлено, что преступники, являясь скрытыми врагами народа, осуществляли вредительское лечение больных и подрывали их здоровье.

Следствием установлено, что участники террористической

группы, используя свое положение врачей и злоупотребляя доверием больных, преднамеренно, злодейски подрывали здоровье последних, умышленно игнорировали данные объективного обследования больных, ставили им неправильные диагнозы, не соответствующие действительному характеру их заболевания, а затем неправильным лечением губили их.

Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища А. А. Жданова, неправильно диагностировали его заболевание, скрыв имевшийся у него инфаркт миокарда, назначили противопоказанный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили товарища А. А. Жданова. Следствием установлено, что преступники также сократили жизнь товарища А. С. Щербакова, неправильно применяли при его лечении сильнодействующие лекарственные средства, установили пагубный для него режим и довели его таким путем до смерти.

Врачи-преступники старались в первую очередь подорвать здоровье советских руководящих военных кадров, вывести их из строя и ослабить оборону страны. Они старались вывести из строя маршала Василевского, маршала Говорова, маршала Конева, генерала армии Штеменко, адмирала Левченко и др. (Массовый расстрел крупных советских военачальников в 1937 году не ослабил оборону страны! – Я. Р.) Однако арест расстроил их злодейские планы и преступникам не удалось добиться своей цели.

Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, состояли в наемных агентах у иностранной разведки. Большинство участников террористической группы (Вовси, Коган, Фельдман, Гринштейн, Этингер и др.) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт», созданной американской разведкой якобы для оказания международной помощи евреям в других странах.

На самом же деле эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву «об истреблении руководящих кадров СССР» из США от организации «Джойнт» через врача в Москве Шимелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса. Другие участники террористической группы (Виноградов, Коган М. Б., Егоров) оказались давнишними агентами английской разведки.

Следствие будет закончено в ближайшее время (ТАСС)».

* * *

Это ошеломляющее известие нормальный человеческий разум не мог вместить. Особенно это относилось к разуму людей, близко знавших лиц, перечисленных в сообщении ТАСС. Это – миролюбивые ученые и врачи, носители высшей гуманности медицинской профессии, преданные ей душой и телом, посвятившие служению ей всю свою жизнь, в подавляющем большинстве далекие от политики. Я хорошо знал всех их, со многими меня связывала дружба на протяжении многих десятилетий. Надо было иметь слишком затуманенный предыдущими процессами мозг, начиная с Шахтинского дела, процесса Промпартии, чтобы принять на веру текст сообщения и осмыслить его. Как говорили, лучше всего выразил свое отношение к этому сообщению диктор и обозреватель английского радио. Передав по радио информацию о раскрытии в Советском Союзе заговора крупнейших ученых-медиков, умерщвляющих своих пациентов, он комментировал это сообщение наиболее вероятной реакцией любого англичанина, если бы он услышал по радио сообщение о том, что король Георг умер не от болезни в глубокой старости, а был умерщвлен своим лечащим врачом – известным ученым. Англичанин воскликнул бы: «Произошло ужасное несчастье: к микрофону пробрался сумасшедший».

О реакции общественного мнения и государственных деятелей зарубежного мира сведения поступали с трудом (каналы для этого были перекрыты) и были весьма скудными. Но и та информация, которая доходила до запечатанных ушей советского гражданина, свидетельствовала, что эта реакция была весьма активной в попытке повлиять на здравый смысл советских руководителей или пробудить его. По радио передавали выступление тогдашнего президента США Д. Эйзенхауэра, командовавшего войсками союзных армий во 2-й мировой войне, одной из самых популярных личностей послевоенного мира. Он заявил в категорических выражениях, что поручил со всей тщательностью выяснить, была ли какая-нибудь связь у арестованных советских ученых-медиков с американскими разведывательными органами, и заверил словом президента, что даже имена этих «американских шпионов» этим органам не были известны и никаких поручений от этих органов они никогда не получали. Аналогичный смысл и аналогичную категоричность имело заявление английского выдающегося деятеля – У. Черчилля и других государственных деятелей Великобритании. Бурную активность проявлял Израиль, пытаясь защитить своих

соплеменников от кровавого навета, перед которым бледнеет «дело Бейлиса». Не зря «дело врачей» называли «делом Бейлиса атомного века». Международная ассоциация юристов-демократов, всегда занимавшая активную просоветскую позицию, обратилась с требованием участия ее представителей в суде над «убийцами в белых халатах», в чем ей было отказано. Высказывались в резко критической форме и многие до того просоветски настроенные видные представители зарубежной интеллигенции, и можно утверждать, что «дело врачей» сыграло немалую роль в критическом осмысливании этой интеллигенцией многих основ советского строя сталинской эпохи. Ведь удалось же Сталину околпачить даже такого проницательного и умного писателя («стреляного воробья», по его собственной характеристике), как Л. Фейхтвангер, посетившего Советский Союз в памятном 1937 году и унесшего самые светлые впечатления о Сталине. Он отразил их в своей книге «Москва, 1937 год». Нужен был исключительно сильный раздражитель в виде «дела врачей» для прозрения идеалистов, ослепленных легендой о Сталине и о советском рае, созданном им.

Авторы сценария под названием «Дело врачей, или изверги рода человеческого», конечно, не знали принципов классической трагедии в древней драматургии. Но инстинкт подсказал им необходимость противопоставления света и тьмы в их инсценировке. Тьмой была коллекция невиданных зверей, обряженных в белые халаты и удостоенных высоких научных степеней и званий, но выходцев из глубинных тайников человеческой мерзости. Равный им по масштабу светлый антипод должен был быть на уровне пречистой богородицы или по меньшей мере – Жанны Д'Арк. Такой светлый образ нашелся. Это была некая Лидия Федосеевна Тимошук, рядовой врач кремлевской больницы, работавшая в кабинете электрокардиографии. По совместительству с светлым образом преподобной богородицы она была секретным сотрудником (сокращенно – сексотом) органов госбезопасности. Они имелись в каждом учреждении. Это были секретные доносчики обо всем и о каждом, как правило – изобретатели фактов. По собственной ли инициативе или по подсказке хозяев эта «богородица» со всей своей профессиональной компетенцией куриного уровня открыла наличие заведомых искажений в медицинских заключениях крупных профессоров, консультантов больницы, разоблачила их сознательную преступную основу и этим раскрыла глаза органов госбезопасности на существование ужасного заговора.

Открытое всему миру известие о ее «благородной» роли вызвало в Советском Союзе буквально взрыв восторга и

восхищения. Пресса задыхалась и захлебывалась словесными выражениями этого восторга. Правительственные поэты воспевали ее подвиг в стихах. Это было почти религиозное преклонение перед этой «великой дочерью русского народа», как ее в ту пору величали в печати.

Ее сравнивали с Жанной Д'Арк, она – спасительница родины от заклятых врагов. Ее заслуги были отмечены правительством присуждением ей 20 января 1953 года высшей награды – ордена Ленина за помощь в разоблачении «врачей-убийц».

Нет ничего удивительного в том, что ослепленное и оглушенное тем же сталинским дурманом население Советского Союза в своем большинстве приняло бесконтрольно, на веру, сообщение ТАСС о «врачах-извергах». Оно привыкло к «острым блюдам», некоторые даже находили в них вкус и с ажиотажем встречали каждое новое «острое блюдо». А тут было преподнесено такое, перед которым казались пресными все предыдущие блюда. Такой детектив не могло бы создать самое изощренное воображение. Здравый смысл далеко не у всех обитателей Советского Союза видел в этом сообщении не истинное событие, а очередную «Сказку Крыленко». Так называли выступления Н. Крыленко, видного партийного деятеля первых лет революции, в качестве прокурора ряда инсценированных в 30-х годах судебных процессов, в результате которых были расстреляны многие невинные люди, среди них многие государственные и партийные деятели.

* * *

Очень многие, в том числе и некоторые медицинские работники, бесконтрольно приняли на веру содержание сообщения от 13 января. Реакция была двойная: дикое озлобление против извергов человеческого рода (другого названия для них не могло быть) и панический ужас перед «белыми халатами», в каждом носителе которого видели потенциального, если уже не действующего убийцу. Никогда не забуду перекошенного от злобы и ненависти лица моего лаборанта М. И. С., процедившей сквозь стиснутые злобой зубы: «Проклятые интеллигенты, кувалдой бы их, кувалдой по черепу». Можно было не сомневаться, что если бы ей дали в руки кувалду, то эта, в общем, хотя и не очень добрая, но и не кровожадная, женщина воспользовалась бы ею. Во всех учреждениях – стихийные и организованные митинги с требованиями самой суровой казни для преступников, и среди участников митингов

многие предлагали себя в палачи. Предлагали себя для этой цели и представители медицинской профессии, врачи и даже профессора, то ли действительно оболваненные и наказанные богом лишением разума, то ли подчеркивавшие этим свое отмежевание от собратьев по профессии, зверских преступников. Страсти разжигала и советская печать, клеймившая в исступленных от заказанного гнева статьях извергов рода человеческого.

Советская пресса буквально неистовствовала в злобном словоизвержении.

Это была самая разнузданная черносотенная пропаганда. Общий тон и направление дала ей центральная официальная пресса. «Известия» в передовой статье 13 января, т. е. подготовленной к опубликованию до сообщения МГБ, повторяя в начале общее содержание этого сообщения, писали: «Действия извергов направлялись иностранными разведками. Большинство продали тело и душу филиалу американской разведки – международной еврейской буржуазно-националистической организации „Джойнт»… Полностью разоблачено отвратительное лицо этой грязной шпионской сионистской организации. Установлено, что профессиональные шпионы и убийцы из „Джойнт» использовали в качестве своих агентов растленных еврейских буржуазных националистов, которые проводят под руководством американской разведки широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. Именно от этой международной еврейской буржуазно-националистической организации, созданной американской разведкой, получил изверг Вовси директиву об истреблении руководящих кадров в СССР через врача в Москве Шимелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса. Другие участники террористической группы (Виноградов, Коган М., Егоров) оказались давнишними агентами английской разведки».

Попутно эта статья напоминает об умерщвлении Куйбышева, Менжинского, Горького врачами Левиным и Плетневым.

В числе извергов названы два Когана: Б. Б. и М. Б. Оба они родные братья, но один из них – Б. Б. – был американским шпионом, а другой – М. Б. – английским. По-видимому, шпионаж был семейной профессией Коганов, обслуживавшей только лишь две иностранных разведки ввиду численного недостатка братьев.

Интересна одна деталь, не отображенная в сообщении МГБ: Коган М. Б., тоже профессор-медик, скончался от рака (потребовавшего ампутации руки) за несколько лет до того, как стал шпионом. В этой роли он мог действовать только в

загробном мире, что, однако, не смущало следственный аппарат МГБ, принимавший для своих целей на вооружение и чертовщину, в чем я мог лично убедиться в дальнейшем.

Старалась советская пресса через все свои литературные каналы. Внес свою лепту и «Крокодил» карикатурами на еврейских убийц; этим карикатурам могла бы позавидовать самая черносотенная печать царского времени, к которой брезгливо относилась даже консервативно настроенная часть дореволюционной интеллигенции.

* * *

Среди массы откровенных погромных статей наиболее омерзительными, воскрешающими самую отвратительную бульварную антисемитскую прессу периода еврейских погромов 1904–1905 годов особо выделялись статьи Ольги Чечеткиной, разводившей чернила «слюною бешеной собаки». Вспоминается и отвратительное впечатление от статей Густы Фучиковой, вдовы легендарного героя Чехословакии, Юлиуса Фучика, автора бессмертного «Репортажа с петлей на шее». С трудом ассоциируются те нежные строки, которые посвятил Фучик в «Репортаже» своей подруге и увековечил ее в них ореолом чуткости и благородства, – с звериной злобой, выраженной в ее литературных откликах на «дело» с терминологией бандитского дна. Не верилось, что это писала нежная, интеллигентная женщина, друг Фучика, а не уголовник-бандит, если только Фучик в своих тюремных воспоминаниях о ней не идеализировал ее. К организации антиеврейского народного гнева были привлечены и неарестованные евреи в лице их видных представителей в советском мире: крупные ученые, известные музыканты, композиторы, артисты, военные и т. д. Они должны были заклеймить письмом в редакцию газеты «Правда» своих собратьев по национальности, оказавшихся извергами рода человеческого. Организация этого письма, как мне передавали, была поручена тройке евреев: их имена мне называли, но я не привожу их, т. к. не могу ручаться за достоверность. Да это и не имеет значения, они – тоже жертвы.

Текст письма мне известен только со слов некоторых из них, кто его подписал, будучи призван к этому. Содержание его не блещет оригинальностью, вкратце оно сводится к следующему: «Евреям советская власть открыла широкий доступ во все области, дала свободу развития всех их способностей, а презренные изверги отплатили за это потрясающим

вероломством. Отмежевываясь от этих выродков, подписавшиеся требуют для них самой высокой кары». Это – смягченный текст письма. Как мне рассказывал один из подписавших его, дискуссия развернулась не вокруг его основного содержания, а вокруг тех эпитетов, которыми следует заклеймить «извергов». Предлагался разнообразный их ассортимент. Почти все призванные подписать этот документ безоговорочно это сделали, некоторые даже не читая, отнесясь с равнодушием к его тексту. Я не называю имена тех, кто подписал этот гнев евреев против евреев. В числе их – известные всему миру имена. Они такие же жертвы этой эпохи, как и те, на кого они излили гнев, отштампованный в редакции «Правды». Один из подписавших (композитор Блантер) говорил мне, что у него каждое утро дрожали после этого руки, когда он получал «Правду», ожидая увидеть этот омерзительный документ с его подписью под ним. Но я считаю обязательным назвать имена тех, которые имели мужество отказаться или уклониться дать свою подпись. Это – народный артист СССР Рейзен, герой Отечественной войны, командир казачьего конного корпуса генерал-полковник Крейзер и Илья Эренбург, композитор И. О. Дунаевский. Конфуз произошел с композитором Глиэром. Когда ему, приняв его за еврея, предложили подписать это письмо, он не возражал против того, чтобы дать свою подпись, но заявил, что он – не еврей, что его отец – немец, а мать – украинка. После такого разъяснения ему было отказано в чести дать свою подпись.

Документ этот света не увидел. То ли решили, что «хороших» евреев не должно быть (особенно в связи с намечаемыми последующими акциями против всей национальности), то ли публикация письма по каким-то причинам задержалась и утратила актуальность после смерти Сталина. Но самый факт подготовки такого документа – лишний штрих к моральной панораме сталинской эпохи.

* * *

Москва всегда была во всем примером для всего Советского Союза. Стала она примером и в организации «дела врачей». В каждом крупном и даже провинциальном центре находили своих «убийц в белых халатах». Не отставать же от Москвы! Поэтому определить точное число арестованных врачей могут только МГБ и судебные органы. Списки, опубликованные в газетах арестованных и затем реабилитированных 4 апреля 1953 года, были далеко не полными. Из известных мне арестованных профессоров и врачей в опубликованных списках не было,

например, фамилий В. Ф. Зеленина, Б. И. Збарского, Э. М. Гельштейна, Г. Х. Быховской, М. Я. Серейского, И. И. Фейгеля, В. Е. Незлина, Н. Л. Вилька, моей и многих других, не говоря о женах арестованных. Сокращать список, по-видимому, было необходимо, иначе проще было бы опубликовать фамилии оставленных на свободе. В ряде крупных центров, особенно на Украине, были уволены из медицинских институтов профессора-евреи, уцелевшие от арестов (в дальнейшем большинство их было восстановлено).

Был и пример, близкий нашей семье. Брат моей жены, Г. Я. Эпштейн, известный ученый-травматолог, был последовательно уволен со всех занимаемых им в Ленинграде должностей: зав. кафедрой травматологии Ленинградского государственного института усовершенствования врачей и руководитель большого отдела в Ленинградском институте травматологии им. Вредена. Оказавшись безработным, он приехал в Москву в Управление кадрами Министерства здравоохранения РСФСР просить какое-либо назначение по специальности.

Принявший его начальник Управления кадров Трофимов (позже – министр здравоохранения РСФСР) предложил ему участок в Якутской области. Обычно такие места замещаются оканчивающими медвузы при распределении их на работу.

На вопрос профессора Г. Я. Эпштейна о том, считает ли Трофимов такое назначение правильным использованием его научного уровня, профессионального уровня и его возраста (57 лет), тот ответил без обиняков: «Таким, как Вы (!!), я ничего другого предложить не могу. Советую принять это предложение, т. к. в скором времени я и это Вам дать не смогу». В этих словах был откровенный намек на то, что в ближайшее время евреев ждет более суровая судьба.

Мне передавали следующий факт, с ручательством за его достоверность, подтверждающий, подготовку к этой акции. Речь идет о киевском профессоре-педиатре, лечившем детей крупного государственного и партийного деятеля Украины; врач был много лет домашним врачом этой семьи, пользовавшимся ее расположением и симпатией. После 13 января он был уволен из медицинской системы, обслуживавшей государственную и партийную верхушку.

Спустя некоторое время после этого ему позвонила жена этого государственного деятеля и попросила его навестить ее заболевшего ребенка, хотя врач уже не состоял в соответствующей лечебной организации, о чем он ей сказал. Он, естественно, не отказал ей в этой личной просьбе, навестил ребенка и дал необходимые лечебные указания. Его несколько

удивило, что мать ребенка не отпустила его и попросила немного задержаться. Он заподозрил, не хочет ли она заплатить ему за его, уже частный, визит. Спустя некоторое время его пригласили в кабинет, где был, по-видимому, специально прибывший отец ребенка. Не объясняя ничего, он спросил у профессора, имеется ли у него возможность уехать из Киева и поселиться в каком-либо глухом небольшом городке или селении не районного масштаба, и в случае наличия такой возможности – сделать это безотлагательно. В этом вопросе скрывался совет врачу и предупреждение об участи, которая ждет его в Киеве. Профессор не успел воспользоваться советом этого, несомненно порядочного человека, рисковавшего многим, если совет этот получит огласку. Вскоре, однако, произошел неожиданный благополучный финал «дела врачей», и необходимость для врача укрыться отпала.

* * *

Общественная ситуация, сложившаяся после правительственного сообщения о «врачах-убийцах», да и внутренняя подоплека этого дела является незаконченным советским изданием так называемых «холерных бунтов».

Укоренившееся название «холерные бунты» дано волнениям, возникшим несколько раз в прошлом веке в различных областях царской России. Они охватывали широкие крестьянские массы во время жестоких эпидемий холеры, присоединявшихся к и без того бедственному положению голодающего, бесправного, невежественного крестьянства. Вспышки ярости, накопленной годами нищеты и бедствий озлобленных человеческих масс, были вначале направлены против медицинского персонала, отряды которого самоотверженно боролись с ужасной болезнью. Необразованные темные массы приписывали врачам распространение холеры и обрушивали на них первые вспышки своей ярости, жертвами которой пали многие врачи. Заодно в дальнейшем они обрушивали свою ярость на своих вековых угнетателей – представителей власти, помещиков, и бунт принимал такой широкий социальный размах, что его подавление требовало специальных карательных мероприятий. «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный», – писал А. С. Пушкин о Пугачевском восстании.

«Дело врачей» – 1953 – это тот же «холерный бунт», перенесенный в XX век в условия сталинской империи. Разница заключалась лишь в том, что «холерные бунты» XIX века были стихийным выражением народной ярости.

Советский же «холерный бунт» был организованным, а возникшая ярость советского народа была направленной и регулируемой. Как и в XIX веке, в 1953 году первыми и главными объектами народного гнева были врачи, которым приписывались чудовищные преступления. Как и в холерных бунтах XIX века, в 1953 году озлобление народа, оболваненного соответствующей пропагандой, было от врачей распространено на интеллигенцию вообще (вспомните высказывание моей лаборантки: «Кувалдой их, интеллигентов, кувалдой!»), а открытые всеми государственными средствами пропаганды каналы антисемитизма были приняты с особым воодушевлением, подготовленные всей длинной предысторией.

Согласно общим закономерностям, история повторяется, но в формах, соответствующих новой исторической обстановке. «Дело врачей», по его целевому назначению, – это сталинский «холерный бунт», заключительный аккорд сталинской «неоконченной симфонии».

Второй формой реакции на публикацию ТАСС был панический ужас перед медициной, охвативший широкую обывательскую массу. В каждом медике, независимо от ранга, видели вредителя, обращаться к которому за лечебной помощью было рискованно. Муссировались «достоверные» слухи о многочисленных фактах ухудшения здоровья и течения болезни у больных после применения назначенного врачом лечения. Вообще, ничего невозможного в этом нет, так как назначенное лечение вовсе не всегда приводит к немедленному резкому перелому течения болезни в сторону выздоровления. В ряде случаев происходит даже нарастание симптомов болезни до критического перелома ее и при активных лечебных мероприятиях. В описываемый период напуганный обыватель в этих фактах видел преступную руку «убийц в белых халатах».

Передавались из уст в уста «достоверные» сведения о случаях смерти больного непосредственно после визита врача, якобы арестованного и тут же расстрелянного. Во многих родильных домах были якобы умерщвлены врачами новорожденные младенцы. Не было той нелепости, которую бы ни изобретала изощренная изуверская обывательская фантазия. Резко упало посещение поликлиник, аптеки пустовали в результате массы слухов о фактах резкого ухудшения болезни после приема безобидных и банальных медикаментов, содержащих, однако, яд. Помню такой эпизод: в Контрольный институт, где я тогда работал, пришла мать ребенка, молодая женщина, и принесла для исследования пустой флакон из-под пенициллина. Ребенок ее болел воспалением легких, и после инъекции пенициллина его

состояние, по ее словам, резко ухудшилось; подобные аллергические реакции на антибиотики бывают нередко.

Эту реакцию она приписала яду, содержащемуся в пенициллине, и потребовала исследования остатков содержимого флакона. При этом она заявила, что прекращает какое-либо лечение ребенка, и на мое указание, что этим она обрекает ребенка на возможную гибель от пневмонии, она с исступленной категоричностью сказала, что она к этому готова, но никаких лекарств давать ребенку не будет: пусть умирает от болезни, а не от яда, который ему дали.

* * *

Над врачами, особенно еврейской национальности, тяготел страх уголовной ответственности за свои действия, которые больному или его родственникам покажутся преступными. Некоторые граждане проявляли особую готовность к реализации такой угрозы. Я сам был свидетелем предусмотрительности со стороны одного мужа, доставившего свою жену в приемное отделение 1-й Градской больницы для госпитализации. Держа в руках блокнот и перо, он с грозной невозмутимостью допрашивал персонал и записывал фамилию врача, принимавшего больную, No отделения и палаты, куда направят больную, фамилии заведующего отделением, палатного лечащего врача, не скрывая, что это ему нужно для наблюдения за их действиями и вмешательства прокуратуры в нужный момент. Разумеется, вся эта обстановка не повышала обычной ответственности врача; она только нервировала его и настораживала к возможной уголовной ответственности и к перестраховке от нее. Врач должен был действовать с оглядкой на прокурора, что навряд ли способствовало созданию атмосферы, необходимой для нормальной врачебной деятельности. Не поддаются учету подобные физические и моральные издержки «дела врачей»!

Лубянка

Нарастали события в личном плане. Смысл некоторых из них мне стал понятен только после ареста. К ним относится вызов в райвоенкомат в декабре 1952 года, т. е. за несколько недель до ареста. Незадолго до моего вызова приглашение явиться в военкомат (одного и того же – Ленинградского района) получил мой близкий друг, о котором я уже писал, профессор Э. М. Гельштейн.

К этому времени он уже был уволен из 2-го Московского медицинского института, где занимал кафедру факультетской терапии, и находился на пенсии.

Он перенес два инфаркта (развившихся у него в процессе принудительного освобождения от кафедры), перешедших в хроническую аневризму сердца и сделавших его инвалидом. С удивлением рассказывал он мне о том, что происходило в военкомате. Ему заявили, что он вызван для медицинского переосвидетельствования, как бывший участник Отечественной войны. Для облегчения задачи комиссии он информировал ее о состоянии своего здоровья и принес электрокардиограммы, регистрировавшие тяжелое поражение сердца.

Впрочем, тяжелое состояние сердца было очевидным и без кардиограмм. К его удивлению, врачебная комиссия признала его годным к несению военной службы в мирное и военное время, т. е. полностью здоровым. В нем заговорила не боязнь призыва в армию; он видел в решении комиссии грубую врачебную ошибку и, как опытный врач, указал им на это. Тогда для решения вопроса они пригласили «военкома». Вошел полковник, который, глядя на профессора Э. М. Гельштейна, сказал: «Он хорошо выглядит, годен к военной службе». На Э. М. Гельштейна все это произвело впечатление какой-то странной инсценировки, смысла которой он не понимал. Особенно поразило его, что решение было предоставлено полковнику, удовлетворенному его внешним видом. Конечно, это был не военком, а полковник МГБ.

Спустя несколько дней вслед за ним и я получил приглашение в военкомат. Принявший меня молодой капитан сказал мне, что в армии необходимости во мне в данное время и в ближайшем будущем нет и что военкомат хочет снять меня с учета, но для проформы мне нужно пройти медицинское переосвидетельствование (перед демобилизацией весной 1945 года я был признан ограниченно годным к несению военной службы вследствие гипертонии и после травмы на фронте). Я несколько удивился, зачем нужно переосвидетельствование, раз

имеется предварительное решение о снятии меня с военного учета, но решил, что это – формальная процедура, каких в армии много. Врачебная комиссия, состоявшая из нескольких человек (в числе их – одна женщина), приняла меня с приветливостью, побеседовали о гипертонии вообще, не производя никакого медицинского освидетельствования, и я был отпущен с впечатлением о выполненной какой-то формальности, не требовавшей врачебной компетенции. Каково же было мое удивление, когда в возвращенном мне на следующий день моем военном билете, вместо отметки о снятии с учета, стоял штамп: годен к военной службе в военное и мирное время. Я ничего не понимал. Лишь позднее, после событий 1953 года, я понял, что все «переосвидетельствование» имело свои задачи и что штамп «годен к военной службе» означал пригодность по состоянию здоровья к пребыванию в тюрьме. То же относилось, конечно, и к профессору Э. М. Гельштейну, арестованному одновременно со мной.

* * *

14 января, на следующий день после опубликования сообщения ТАСС, я был вызван к главному врачу (директору) 1-й Градской больницы, который вручил мне приказ по больнице об освобождении меня от занимаемой должности прозектора больницы, как работающего по совместительству. Было совершенно очевидным, что мотивировка увольнения была формальной отпиской, т. к. большинство заведующих отделениями больницы в ранге профессоров числились на основной работе в учреждениях, где занимали профессорские должности. При этом главный врач (Л. Ф. Чернышев) в категорической форме рекомендовал мне не оспаривать этот приказ нигде, давая понять, что он согласован с высшими инстанциями или продиктован ими. Но и без этой рекомендации мне и в голову не приходила мысль о каком-либо оспаривании приказа. Я прекрасно оценивал всю ситуацию и подлинные мотивы изгнания из больницы авторитетного ученого и компетентного специалиста, каким я уже тогда был, члена КПСС, награжденного орденами Советского Союза, в том числе орденом Ленина. В прозектуре еще до моего прихода знали об этом приказе. Я застал там настоящий траур, причина которого мне еще не была известна, а сотрудники хранили молчание. Особенно поразили меня слезы моего старого лаборанта, фельдшера Е. Х. Рожкова, проработавшего со мной около 30 лет. Он рыдал, не

скрывая это, догадываясь, конечно, об истинном смысле этого события. Я передал все дела заместившей меня моей сотруднице Н. В. Архангельской.

Дня через два после моего увольнения мне позвонили по телефону из больницы и просили быть на митинге, посвященном сообщению ТАСС о «деле врачей», в котором упоминается в качестве одного из активных вредителей профессор Я. Г. Этингер. Клиника до его изгнания находилась на территории больницы. В ней же до войны находилась и клиника арестованного профессора В. Н. Виноградова. Не состоя уже в коллективе больницы, я мог бы отказаться от приглашения. Однако именно потому, чтобы не быть обвиненным в сознательном уклонении от выступления (а его, несомненно, ожидали, имея в виду мои деловые и личные контакты с Я. Г. Этингером), я решил приехать на митинг. Я не помню его содержания, вероятно, оно было стереотипным для того времени.

Бесновалась Золотова-Костомарова – совершенно невежественная в научном и профессиональном отношении, бывший ассистент профессора Этингера и наиболее остервенелая его гонительница, занявшая после изгнания его кафедру, но недолго удержавшаяся на ней.

В своем выступлении я сказал, что «потрясен сообщением 13 января о чудовищных преступлениях медиков, в том числе и Я. Г. Этингера, которых я знал много лет и со многими из которых был в дружеских отношениях. Их знали и многие из присутствующих, знали о том авторитете и уважении, которым они пользовались. Я, как, конечно, и многие присутствующие, не мог заподозрить в них людей, способных на такие злодеяния, Я и сейчас не могу представить, что впечатление, которое они производили на протяжении многих лет знакомства, было результатом тщательной маскировки. Я не могу присоединиться к некоторым из выступавших, что давно видели в Этингере предателя Родины и потенциального убийцу, иначе я реагировал бы на это так, как от меня требовал мой долг гражданина и члена КПСС».

Это был мой последний перед арестом контакт с 1-й Градской больницей.

Он возобновился только спустя 5 лет, но уже в другой обстановке…

Мрачные события нарастали. Снаряды падали все ближе и ближе, и росла ужасная уверенность, что скоро один из них нацеленно попадет в меня. В этой уверенности почему-то особое значение имел арест 25 января профессора В. Ф. Зеленина, известного терапевта, учителя моего и моей жены и нашего друга.

Моя жена была в эти дни в Торопце Великолукской области,

где навещала нашу старшую дочь, окончившую в 1952 году медицинский институт и получившую туда назначение на работу. Получив известие от меня во время телефонного разговора об аресте Зеленина, жена немедленно выехала, так как по непонятным психологическим механизмам придала ему особо роковой смысл, хотя аналогичные сообщения поступали непрерывно.

В течение нашей жизни мы с женой неоднократно обсуждали «жизнерадостные» перспективы возможного ареста. Почему он мог меня миновать?

Ведь не миновал же он многих известных нам людей, в том числе друзей и знакомых, честных тружеников, преданных своей родине. У меня были неосторожные (по тому времени) поступки, продиктованные профессиональной и просто человеческой совестью, и у моей жены иногда был наготове «джентльменский набор» (как я его называл), состоящий из пары смен белья, носовых платков, мыла и т. д., т. е. из всего того, что «там» может быть необходимым. Обсуждая с женой очередную, уже ближайшую, казалось бы, неизбежную перспективу ареста, мы повторно возвращались к теме о поведении «там». Моя жена была почему-то убеждена, что, безусловно, расстреливают тех, кто, не выдержав истязаний и других пыток, о которых ходили ужасающие слухи, подписал требуемые показания. Поэтому она умоляла меня быть стойким, выдержать все, мобилизовать для этого все свое мужество, но не подписывать выколоченных признаний в мифических преступлениях. Эту просьбу я помнил всегда, она сопутствовала мне в течение всего тюремного периода и была мощной поддержкой в самые тяжелые минуты. До нас доходило расширенное до абсурда понятие о преступлениях в органах госбезопасности, где чудовищным преступлением против партии и Советского государства мог оказаться самый невинный, самый естественный, бытовой поступок, совершаемый нормальным человеком ежедневно, если этот человек почему-то подлежал уничтожению. Я убедился в этом в дальнейшем и на личном опыте, а следователь раскрыл мне некоторые теоретические обоснования советской криминологии, сформулированные гнусной памяти А. Я. Вышинским. Даже дети знали о том, как расширено было у нас понятие о политическом преступлении, о чем может свидетельствовать детский анекдот, принесенный из школы. Сидят в тюремной камере медведь, волк и петух и обмениваются информацией о совершенных преступлениях. Медведь говорит: «Я корову загрыз». Волк: «Я овцу зарезал». Петух говорит: «А я – политический; я пионера в задницу клюнул».

* * *

Приближался роковой день – 3 февраля. В этот день я выступал в ученом совете Медицинской академии в качестве оппонента по одной диссертации. После заседания я заехал в книжный отдел Дома ученых за зарубежными журналами для себя и для профессора Э. М. Гельштейна, у которого болезнь резко ограничила возможности передвижения. Вечером я позвонил профессору Э. М. Гельштейну, чтобы сообщить ему о взятых для него журналах, но на телефонные звонки не было никакого отклика. Меня это удивило, так как я знал, что больной Э. М. Гельштейн никогда не покидает квартиры, а вечером дома и жена его – Г. Х. Быховская, доцент ЦИУ, известный врач-невропатолог. Я позвонил профессору С. Я. Капланскому, соседу по дому и другу Гельштейнов, чтобы осведомиться у него о возможной причине молчания их телефона. Он сказал, что это случайность, подтвердив, что кто-нибудь из них всегда дома. Наконец, около 10 часов вечера телефон Гельштейна откликнулся взволнованным голосом домработницы, сообщившей, что только что всех увезли после суточного обыска.

Это был снаряд уже совсем рядом, и не оставалось сомнения, что следующий – в меня. Мы обещали быть в этот вечер у наших друзей Мошковских, живших с нами в одном доме. Я захватил с собой те очень скромные сбережения, которые у нас были, чтобы просить Мошковских сохранить их и вернуть оставшимся членам моей семьи после моего ареста. Вечер был траурный в полном смысле этого слова. Все понимали, хотя об этом не говорили, что это вечер траурного прощания навеки. Но каждый думал о себе с тенью надежды, что судьба минет его. Только у меня не было и этой тени при всем моем оптимизме. С таким настроением мы отправились домой около часа ночи.

Войдя в наш подъезд, мы удивились присутствию лифтерши, обычно уходившей в 24 часа и запиравшей лифт. Рядом с лифтершей стоял мужчина боксерского вида в штатской одежде, что тоже нас удивило и было подозрительным. Поднимаясь в лифте, я высказал жене предположение, что это – сотрудник МГБ, но жена, многократно видевшая их на площадках нашей лестницы, следящими без стеснения за кем-то во дворе, сказала, что «те» выглядят иначе. Дальнейшие события показали, что это был член оперативной группы, прибывшей для моего ареста, с заданием либо караулить лифтершу, чтобы она не ушла и не смогла предупредить каким-либо образом меня о ночных посетителях, либо схватить меня, если я сделаю попытку к бегству (вероятно – совмещение обоих заданий). Открыв входную

дверь ключом и войдя в переднюю, я сразу оценил всю ситуацию. У входа в переднюю справа от двери стоял молодой мужчина в стандартной штатской одежде эмгебешников (синее пальто с серым каракулевым воротником, шапка ушанка с таким же мехом), встретивший меня наглой полуулыбкой. В ярко освещенной столовой, дверь которой выходила в переднюю, я увидел, вернее почувствовал, присутствие многих людей. Я настолько был психологически подготовлен к подобной встрече, что у меня вырвалось восклицание, адресованное стоящему у входа эмгебешнику:

«А, привет!» Это не было ни бравадой, ни тем более вежливостью хозяина, приветствующего гостя. Известная пословица гласит: «Не ко времени гость – хуже татарина».

Мой гость полностью отвечал смыслу этой пословицы, только с некоторым оттенком: он был незваный, но не был нежданный, и мое приветственное восклицание значило: «Наконец-то!» Так смерть снимает ужас ее ожидания.

На «привет» гость ответил тем, что стал быстро обшаривать мои карманы, выворачивая их и задавая стандартный вопрос: «Оружие есть?» Войдя в столовую, я застал в ней большое общество: двух или трех молодых эмгебешников в военной форме, немолодого полковника, а также подавленных и напуганных всем происходящим дворничиху, взятую, по-видимому, в качестве понятой, и нашу домработницу – молодую девушку. Полковник предъявил мне ордер на мой арест и обыск в квартире, который я даже не прочитал, не проявляя никакого интереса к его тексту и к его авторам, и лишь заметил дату выдачи ордера: 2 февраля. Как потом выяснилось, этой же датой был помечен ордер на арест Э. М. Гельштейна, но, по-видимому, большая перегрузка работой оперативников МГБ не дала им возможности одновременного ареста, и я оставался на свободе на сутки больше Э. М. Гельштейна.

* * *

Я не помню всех деталей процедуры ареста, да они и не интересны, протекали по отработанному шаблону. Спокойным и даже заботливым тоном опытного в этих делах человека полковник давал советы жене о необходимом ассортименте вещей («джентльменский набор»), которые мне надо дать в «дальнюю дорогу», сказав, что никакой еды не нужно. Попрощавшись с женой и запомнив на всю жизнь ее многозначительное – «мужайся», сказанное в виде самого последнего напутствия, я в

сопровождении полковника с узелком в руке отправился в неизведанное. При спуске по лестнице полковник в своем спокойном тоне сказал: «Если кто-нибудь из соседей встретится, скажете, что едете в командировку». Я ничего не ответил на этот совет, хотя он мне показался наивным: советские люди отлично знали, в какую командировку едут ночью в сопровождении полковника госбезопасности. Внизу у лифта уже не было ни лифтерши, ни «боксера». Вместе с полковником я сел в поджидавшую легковую машину. По дороге я задал скорее себе, чем ему, вопрос вслух: «В чем меня могут обвинить?» Полковник утешающе ответил: «Может быть, вы нужны в качестве свидетеля». Я удивился также вслух: «Разве свидетелей арестовывают?» Ответ: «Иногда бывает необходимость в их изоляции». В тягостном молчании продолжался путь по ночной Москве, пока перед машиной не открылись знакомые всем москвичам глухие тяжелые ворота Лубянки (со стороны Сретенки), и машина въехала со своими пассажирами в ее двор. Так начался этап, конец которого тонул в бесконечном мраке, возможно, загробного мира.

Все последующее воспринимается сейчас (да воспринималось, по-видимому, и тогда), как мрачное сновидение с провалами. Сохранились лишь отдельные куски происходившего, без возможности воссоздать целую картину в ее последовательности. Я помню лишь, что до меня вначале не доходил в полной мере весь драматизм происшедшего со всеми его последствиями, и я обнаруживал у себя даже какой-то исследовательский интерес, какое-то любопытство к тому новому, что меня ждет. Еще по пути в Лубянку меня интриговал вопрос, какое конкретное обвинение мне предъявят. Ждать пришлось недолго. После короткого пребывания в боксе я попал в комнату, где за столом сидел с официально-каменным и деланно-строгим, презрительным лицом молодой военный в форме МГБ с погонами капитана. Войдя в комнату (т. е. будучи доставленным в нее), я привычно поздоровался. Это был автоматизм вежливости, не покидающий меня иногда даже на автомобильных трассах, где я на матерную ругань по моему адресу из соседней автомашины из-за какой-нибудь промашки отвечал вежливым «извините». Хозяин комнаты оказался следователем. В дальнейших контактах я узнал имя, отчество и фамилию «гражданина следователя», запомнил ее: Роман Евгеньевич Одленицкий. Это был молодой человек (лет около 30), с узким лицом, с налетом интеллигентности и плутовства. К его характеристике, возможно, я еще вернусь. На мой сдержанный привет он ответил едва заметным надменным кивком и нечленораздельным коротким мычанием. Видимо,

большее не входило в ритуал обхождения с арестованными, исключавший проявления вежливости. Без всякого вступления он мне заявил: «Вы арестованы как еврейский буржуазный националист, враг советского народа; рассказывайте о ваших преступлениях».

Этой декларацией мое любопытство было удовлетворено, и у меня наступило какое-то облегчение, но отнюдь не из-за удовлетворенного любопытства. У меня «отлегло от сердца», когда я услышал формулировку обвинения. Мне казалось, что мне будет чрезвычайно легко доказать его вздорность, что я никогда не был еврейским буржуазным националистом, а тем более врагом советского народа. Поэтому я был уверен, что мне не доставит никакого труда опровергнуть возводимое на меня обвинение. Наперед скажу, что я, разумеется, заблуждался, так как не знал, что такое «еврейский буржуазный национализм» в интерпретации МГБ, в чем его конкретное содержание. Я бы мог привести много конкретных свидетельств моего российского и советского патриотизма, моей искренней преданности и глубокой привязанности к своей стране, начиная с детства, и эти чувства перехлестывали через многие оскорбления и многие мытарства, через которые мне, как еврею, пришлось пройти в течение жизни. Чувство собственного достоинства не позволяло мне никогда приводить эти свидетельства в доказательство чувства родины в любой обстановке. Они не изменили мне и в тюрьме. Эти чувства, общие всем людям еврейского происхождения, отдавшим своей родине весь свой, иногда недюжинный, талант; их великолепно выразили Маргарита Алигер в своей замечательной поэме «Твоя победа», И. Г. Эренбург в своем литературном памятнике «Люди, годы, жизнь» и многие другие. Поэтому с полной искренней убежденностью я ответил следователю, что еврейским буржуазным националистом я никогда не был, никаких преступлений против советского народа не совершал.

Следователь повторил формулу обвинения и требование не запираться, а рассказывать о своих преступлениях. Я обратился к нему с предложением конкретизировать мои преступления, сказать, в чем конкретно меня обвиняют, и тогда я смогу ответить, совершал ли я такие преступления или нет. Это вызвало молниеносную реплику: «Э, нет, вы сами все расскажете!» Я только в дальнейшем понял, что в МГБ сам обвиняемый должен изобретать свои преступления, здесь жрецы правосудия не желают этим себя затруднять.

«Переплевывание» со следователем продолжалось около одного часа. Кончилось оно тем, что следователь пригрозил: «Либо вы будете давать нужные показания, тогда вы останетесь

здесь; хотя здесь не санаторий, но условия более или менее приличные. Либо, если будете продолжать упорствовать, то я доложу начальству об этом, и вы будете переведены на спецрежим». Угроза, смысл которой к тому же был не ясен, не подействовала. Следователь стал что-то писать, писал долго и дал мне подписать то, что называлось протоколом. Здесь я впервые познакомился с его своеобразным стилем, основоположника которого мне потом называли, но я забыл его фамилию для авторского увековечения.

Протокол состоял из вопросов и ответов, и первые из них в их общем стиле и содержании я запомнил.

Вопрос. Вы, Рапопорт, арестованы как еврейский буржуазный националист, враг народа. Показывайте о Ваших преступлениях.

Ответ. Никаких преступлений я не совершал.

Вопрос. Лживое лецимерное заявление. («Лецимерное» – это его орфография, а не моя, даже в этой обстановке мне не изменил мой редакторский стереотип – замечать ошибки).

Ответ. Никакого лецимерия нет.

Вопрос. Не увиливайте и рассказывайте о Ваших гнусных действиях.

Ответ. Никаких гнусных действий я не совершал.

Вопрос. Вам, Рапопорт, не уйти от ответственности за ваши преступления.

Ответ. Никаких преступлений я не совершал… и т. д.

Заняла вся эта уголовная викторина, под титульной шапкой – «протокол допроса», целую страницу. В конце страницы – подписи вопрошающего и отвечающего, после чего вопрошающий удалился.

* * *

На смену ему явился спустя некоторое время какой-то солдатского вида субъект, накрыл мои плечи парикмахерской салфеткой со следами частого употребления, и я подвергся первому посвящению в арестанты – стрижке головы наголо. После этой процедуры – принудительный душ (как я убедился в дальнейшем, за личной гигиеной заключенного в тюрьме МГБ следили тщательно).

После душа поставили около едва теплой батареи и приказали: «Сохни». Я выполнил приказание и старательно сох, прибегая в гораздо большей степени к собственному теплу, чем к теплу батареи. Пока я сох – тщательный осмотр брюк, пиджака, ботинок. Срезаны пуговицы, на которых были оттиснуты какие-то

фирменные буквенные знаки, после чего брюки держались на мне только из трогательной привязанности и на единственной неграмотной пуговице.

Проникнуть в тайный смысл лишения брюк и пиджака их пуговичной принадлежности – невозможно, если не представить, что на пуговицах заранее крамольной фирмой была оттиснута антисоветская агитация. Извлечены шнурки из ботинок, видимо, для предупреждения самоповешения на них.

Остриженный, обмытый, высушенный и обеспуговиченный, я был запакован в «черного ворона» и отправился в нем в дальнейшую неизвестность. Конструкция «черного ворона» многократно описана в нашей литературе. Все же я ее повторю для непосвященных, тем более что техника шагнула вперед, возможно, изменились средства транспортировки арестантских тел. Мой «черный ворон» был обычным фургоном для перевозки хлеба, мяса. Приспособление его для перевозки человеческой живности заключалось в том, что он узким продольным проходом был разделен на две части, разделенные глухими перегородками на несколько узких кабинок, в каждую из которых мог втиснуться человек средней упитанности. К задней стенке кабины была прикреплена скамейка для вынужденного сидения, при котором колени упирались в дверцу кабины. В последней был «глазок», через который сопровождающий надзиратель мог время от времени лицезреть лицо пассажира, освещенное слабой электрической лампочкой. В задней части «ворона» железные двери, как в обычном фургоне.

…Тронулись в путь. Ехали долго, пересекали какие-то рельсы, стояли перед шлагбаумом, поскольку я слышал шум проходящего поезда. Какая-то из остановок продолжалась, по всей вероятности, не меньше получаса, если сохранилось в этом космическом герметическом аппарате земное представление о времени. По-видимому, мои стражи покинули его по своим делам (наверное, заглянули в пивную, ведь было уже утро), поскольку, вернувшись, с трогательной заботой осведомились: «Эй, ты, ты там не замерз?», и, удовлетворенные ответом (самолюбие не позволяло дать им отрицательный ответ), тронулись дальше.

Был уже день, когда «ворон» въехал в какой-то двор (я это определил по звуку отпираемых и запираемых ворот), выраженные тюремные признаки которого я определил по выходе из своего уютного купе.

Затем я был введен в комнату в нижнем этаже, где меня встретила женщина лет 30 с миловидным, человеческим лицом, в одеянии врача. Мне предложено было раздеться. Имея в виду белый халат и белую шапочку этого милого доктора, я полагал,

что подвергнусь обычному медицинскому осмотру, для чего снял пиджак и сорочку, и был удивлен и даже сконфужен (я не утратил мужского самосознания) предложением раздеться догола. От такого милого предложения трудно было отказаться, особенно при ассистенте-надзирателе.

Приятная докторица осмотрела все отверстия (ушные, носовые, рот, горло), кончая заднепроходным с глубоким введением в него пальца (хорошо, что осмотр отверстий был не в обратной последовательности). При этом она неожиданно изрекла вслух: «Геморроя нет», как будто удивленная неожиданным отсутствием его у пожилого еврея-профессора. Я не удержался, задал вопрос: «А разве без геморроя не расстреливают?» Юмора в этом вопросе она, очевидно, не усмотрела, в нем было больше злости (в этом доме юмор, по-видимому, был вообще редким гостем), и только удивленно и, как мне показалось, с интересом на меня посмотрела. Может быть, она знала меня, меня знали многие врачи и как педагога, и как участника многих научных конференций. Лишь недавно я догадался (и то с чужой помощью) о причине такого внимания к естественным отверстиям моего организма: не принес ли я с собой в них ампул с ядом. А до этого я шутил – не искала ли она там атомную бомбу или скорострельную пушку.

* * *

Что же в это время происходило у меня дома? Об этом мне рассказала жена по моем возвращении из «мертвого дома». Я это возвращение называл эксгумацией, что почти было близко к истине: эксгумация – извлечение из могилы захороненного трупа. Оставшиеся «сотрудники» приступили к обыску.

Обыск был произведен также и на моей даче, куда «сотрудники» поехали в сопровождении моей жены. Он производился чрезвычайно тщательно, просматривалось все в поисках компрометирующих материалов. Следы этой тщательности я обнаружил по возвращении и освобождении запечатанных двух комнат, где в общую кучу были свалены различные материалы – коллекции научных диапозитивов, научные рукописные и печатные материалы, книги.

Тщательно просматривались в поисках крамолы документальные материалы, но в них, по-видимому, ничего откровенно контрреволюционного и компрометирующего в смысле принадлежности к террористической организации выявить не удалось.

Во всяком случае, как мне сообщила потом жена, они периодически сообщали по телефону о скудости материала обыска. И вдруг – сенсация, всеобщее возбуждение: найден яд! Это была картонная аптечная коробочка с ампулами атропина с символической наклейкой для сильнодействующего препарата, изображающего человеческий череп. Атропин этот был в домашней аптечке, как необходимое средство для срочной инъекции при острой коронарной недостаточности с резким приступом стенокардии. Об этой находке было тут же сообщено по телефону «товарищу генералу» в МГБ: найден яд! Этой находке было придано такое же значение, как если бы были обнаружены бомбы, пулеметы, пистолеты и другие вещественные признаки террористической деятельности. Ведь яд – это оружие террориста-врача, который убивает своих доверчивых пациентов ядом, а не при помощи огнестрельного оружия. Сенсация получила широкое распространение, и по двору передавались слухи: у Рапопорта нашли яд! Страшная коробочка была со всей тщательностью опечатана сургучной печатью, и я потом видел ее в руках у следователя. Коробочка уже была распечатана, и одна ампула была пустой; по-видимому, содержимое ее подверглось анализу, установившему его состав и назначение. Тем не менее следователь спросил: «Зачем вам нужен был яд, хотели отравиться при аресте?» По-видимому, он полагал, что я могу пойти по пути Геббельса, Гитлера, Гиммлера и других фашистов, как их последователь. На это я ответил, что травиться у меня не было оснований и никакой подготовки к самоубийству я поэтому не делал. Да и следствию уже известен характер яда и его назначение.

Больше к этому вопросу в процессе следствия не возвращались; то ли сенсация безнадежно провалилась, то ли другие вопросы на время затмили ее, то ли он еще найдет свое лицо в обстоятельном заключении о моей террористической деятельности.

Из других компрометирующих вещей были изъяты финский нож в кожаных ножнах и фашистский штандарт – красный флажок с черной свастикой в центре.

Происхождение этих вещей я объяснил. Финский нож (кстати, настолько тупой, что им нельзя было даже нарезать хлеб) был мне подарен на Карельском фронте одним начальником госпиталя. Его сделал санитар-умелец этого госпиталя.

Такие «финки» имели почти все военнослужащие Карельского фронта, это был его местный сувенир. Пользоваться им, как холодным оружием, было невозможно по причине его топорной тупости, и даже ножны – признак холодного оружия – не

придавали ему угрожающего бандитского значения. Что касается фашистского штандарта, то я его нашел на письменном столе в помещении только что покинутого немцами их штаба в Риге. Штандарт я взял в качестве сувенирного трофея, но предусмотрительно, во избежание подозрений в преклонении перед фашистской свастикой, написал на нем чернилами дату взятия трофея и место:

«Рига, 13 октября 1944 года» (день освобождения Риги от немцев). Тем не менее следователь спросил: «Откуда у вас немецкая свастика? Ну, я понимаю американский флаг, но фашистская свастика – для еврея это уж чересчур!» Пришлось обратить его внимание на мою надпись на свастике, разъясняющую ее происхождение. Больше к этим вопросам следствие не возвращалось, хотя и эти материалы могли быть признаны компрометирующими доказательствами – ведь следствие было не закончено и прервано в его разгаре…

Такая возможность не могла быть исключена. Ведь вся история деятельности «органов» по истреблению советских людей богата примерами того, что нет той нелепости, которая не могла бы служить доказательством преступной деятельности или преступного намерения. Этими примерами насыщены все материалы, выявленные при реабилитации невинно осужденных людей. И чем тупой финский нож и атропин меньшее доказательство преступных намерений владельца, чем согнутый в дугу ствол пулемета со сбитого немецкого самолета, найденный ребятами под Москвой недалеко от места падения и взрыва этого самолета? Между тем именно этот ствол служил вещественным доказательством заговора группы молодежи, раскрытого «органами» в 1943 году, под названием «Отомстим за родителей». Эта группа молодежи (среди них сын близкой нашей приятельницы З. С. К., и он рассказал нам после возвращения из концлагеря все детали дела) были дети репрессированных и расстрелянных родителей. Они якобы организовались для отмщения за гибель отцов.

При обыске у одного из них и был обнаружен фигурировавший в качестве вещественного доказательства скрюченный ствол пулемета. Под пытками кто-то из ребят показал, что из этого пулемета они хотели расстрелять Сталина при проезде его по Арбату из окна комнаты одной из девушек – члена этой группы.

Суд не смутили ни анекдотическое вещественное доказательство, ни тот факт, что окно, из которого должно было быть выполнено покушение, выходило во двор, а не на Арбат. Поэтому у меня сейчас нет уверенности, что вопрос о роля

атропина, тупой финки и фашистского штандарта был исчерпан кратким разговором об этих находках, не получивших пока, однако, отображения в протокольных вопросах-ответах.

* * *

Что же дальше происходило дома? Обыск продолжался около двух суток, закончился изъятием массы корреспонденции и различных документальных материалов, опечатанием двух комнат из четырех, две были оставлены в распоряжении жены и младшей дочери-школьницы. Часть имущества, по-видимому, подлежащего конфискации после моего осуждения, была перенесена в опечатанные комнаты, часть оставлена жене под расписку. При обыске особенно свирепствовал «сотрудник», производивший личный обыск при аресте; другие, молодые ребята, держали себя более миролюбиво и даже вступали в дискуссии с этим «сотрудником» по ряду вопросов. Так, например, он требовал переноса пианино в опечатанные комнаты, а его коллеги возражали, говоря, что им пользуется моя младшая дочь-школьница. Обнаружив коллекцию старых денежных ассигнаций царского выпуска, он хотел их присоединить к компрометирующим материалам, мол, я получал ими плату за шпионскую деятельность от американской разведки, но остальные его коллеги стали урезонивать его, говоря, что это «Наташина коллекция». И в этих эпизодах я вижу подтверждение моих убеждений, созвучных утверждению поэта, что «не только собаки живут на земле».

Среди изъятых материалов была переписка с женой в период поездок каждого из нас отдельно друг от друга. Все письма моя жена хранила на протяжении многих лет. Почерк у меня неразборчивый, к нему надо привыкать, и мои корреспонденты говорили, что при многократном чтении каждого письма в нем всегда обнаруживается что-нибудь новое. Мой следователь (я его назвал потом куратором) однажды дал мне прочитать какое-то непонятное ему место в одном из моих писем. Я ответил, что я сам не всегда разбираю написанное мною и что прочитать мои письма хватит работы для трех лейтенантов до выхода в отставку в чине генерала. Забегая вперед, скажу, что вся корреспонденция была мне возвращена, и, разбирая ее, я обнаружил одно письмо моей жены ко мне в Крым, датированное августом 1938 года, которое само по себе служило бы для МГБ тягчайшей уликой моей тесной связи с преступной организацией евреев-террористов. В нем жена пишет, что меня разыскивает М. С.

Вовси. Его клиника помещалась в Боткинской больнице, где главным врачом был доктор Шимелиович, упоминаемый в сообщении ТАСС среди главарей преступной организации. В это время он уже был казнен (12 августа 1952 года) вместе с другими 24 членами еврейского антифашистского комитета. После 13 января имена Вовси и Шимелиовича были настолько одиозны, что любые формы связи с ними навлекали тяжелые подозрения. Достаточно сказать, что даже в дачном кооперативе «Научные работники» (где и моя дача) рассматривали в правлении вопрос об исключении из числа членов кооператива и изъятии дачи у одного члена кооператива только потому, что он сдавал Вовси дачу. Правда, следует заметить, что этот кооператив отличался среди других открытым мародерством.

Среди членов кооператива – владельцев дач – было много репрессированных в эпидемию 1937–1938 годов. Едва сведения об аресте достигали правления кооператива, как оно исключало арестованного из его членов, выбрасывало из дачи оставшуюся семью, дачу изымало и передавало кому-либо из знакомых по «балансовой» стоимости (обычно во много раз меньше реальной) или даже не только без уплаты ее, но и с передачей ему паенакопления арестованного. Это был открытый грабеж обездоленных под прикрытием благородного отмежевания от «врага народа». При этом подобная операция производилась даже до вынесения приговора и включения в него пункта о конфискации имущества. Арест уже был приговором в то смутное время, а подавленная семья, если она оставалась на свободе, боялась протестовать, да ни одно из судебных или других советских учреждений не стало бы на ее защиту. На собственном опыте я познакомился с мародерскими обычаями, царившими в дачном кооперативе, проводниками и рьяными приверженцами которых были члены партии, многие с учеными степенями и званиями, бессовестные мародеры, наживавшиеся на несчастье других. Едва я был арестован (а сведения об этом немедленно достигали правления кооператива, так как на даче тоже производили обыск), как я был исключен из числа его членов, а дача передана какому-то полковнику МГБ, приезжавшему с женой знакомиться с подарком. Не повезло полковнику, он не успел вступить в фактическое владение дачей, иначе не видать мне ее. Выгони его потом, ведь дача уже не моя, а передана ему, отними у него!

* * *

Реакция макромира на арест врачей-убийц была изложена выше. Как же реагировал окружавший меня и семью микромир на мой арест? Я получил подтверждение поэтического тезиса, что «не только собаки живут на земле».

Общее отношение к моей жене было отношением общего сочувствия, как правило, молчаливого, но угадываемого ею. Лишь иногда кто-нибудь с оглядкой, как бы бдительный взор не видел, осведомлялся обо мне, и получал неутешительный ответ: «Ничего не известно». Были и активно сочувствующие, не скрывавшие этого, и из таковых я в первую очередь должен с глубокой и вечной благодарностью назвать семью Беклемишевых. Это были наши соседи, жившие этажом ниже нас. Глава семьи Владимир Николаевич, известный ученый-энтомолог, академик Академии медицинских наук, принадлежал к навсегда и безвозвратно ушедшему яркому типу русской интеллигенции, о котором мы знаем из бессмертных характеристик Тургенева, Толстого, Чехова и других писателей дореволюционной эпохи. Одна внешность его была выразительной: высокий, худощавый, прямой, с острой бородкой клинышком. Ему не хватало только «крылатки» для литературного портрета дореволюционного «демократа».

Поражала широта его интересов и эрудиции в области истории, литературы, этнографии и глубокое их знание по источникам на всех европейских языках и древних (латинском и греческом). Ко всему этому он был глубоко религиозным (не богомольным), и изображение Иисуса Христа было в его кабинете-спальне.

Всякая встреча с ним оставляла впечатление благородства, которое излучали его несколько наивные и добрые глаза, хотя простачком его никак нельзя было назвать.

Прекрасным дополнением к нему была его жена Нина Петровна – веселый, жизнерадостный, общительный человек, добрый и добросердечный, но вполне «от мира сего», прекрасно в нем разбирающийся без потери своей лучезарности.

На мой арест Владимир Николаевич реагировал по-своему. При встрече с женой он не просто здоровался с ней, чего избегали даже некоторые из близких друзей, он снимал шляпу и кланялся ей почти земным поклоном. И в этом поклоне было не просто обычное сочувствие: это был земной поклон великомученице. Нина Петровна реагировала по-своему. Она в первые же дни после моего ареста навестила жену, в то время как всеобщий страх контакта с семьей «врага народа» окружил мой дом глухой стеной, и даже близкие друзья избегали посещать его. Нина Петровна участливо предложила жене материальную помощь, от которой жена, однако, отказалась.

У нас много лет была няней наших детей тетя Ксения. По переезде в дом ЖСК «Медик» мы устроили ее на работу в этом же доме лифтершей – труд гораздо более легкий, чем няни и домработницы. Ей дали комнату в этом же доме. Она выговаривала арестовавшим меня «сотрудникам»: «Как вам не стыдно, кого вы арестовываете? Арестовали такого человека!» Ее отношение ко мне и к семье было даже известно следователю. Он как-то сказал мне, что у вашей семьи остается в доме преданная домработница. Эта няня Ксения обратилась к священнику ближайшей церкви с вопросом, может ли она молиться за еврея? Тот ответил утвердительно, и няня Ксения «отмолила» меня, как она утверждала после моей «эксгумации». Моления возносила к небу и наша старая знакомая – еврейка, пожилая женщина, и свои обращения к еврейскому богу дополнила длительным постом. Небесные троны несомненно пошатнулись бы, если бы не достигли цели совместные усилия русского и еврейского богов по вызволению из смертельной опасности одного безбожника. Как я потом узнал, обращения к богу, за отсутствием возможности обратиться к кому-нибудь из земных всемогущих, были со стороны многочисленных моих друзей и просто знакомых, далеких от религии и признания высшего небесного начала.

В качестве примера других этических и моральных принципов могу привести друга нашего соседа. Это было в период «дела врачей». Его дочь, ровесница моей младшей дочери Наташи, училась с ней в одном классе, и Наташа помогала ей в домашних занятиях. Когда меня арестовали, у Наташи оставались ее ученические тетради, и она хотела вернуть их ей. На дверной звонок ей открыл дверь сам папа. Увидев Наташу, он заорал на нее, – как она, мерзавка, смела явиться к ним. Эти слова он дополнил таким толчком в грудь, что Наташа упала и едва не скатилась с лестницы. Тетради рассыпались, Наташа убежала, сохранив память об этом эпизоде на всю жизнь.

Для настроения части общества того времени характерна реакция школьного класса, где училась Наташа (ей в ту пору было 14 лет), на мой арест. Обычно при аресте кого-либо из родителей с детей-школьников, если они были пионерами, перед линейкой срывали пионерские галстуки и исключали из пионеров. Я случайно в 1937 году подслушал разговор на улице двух пионеров, смеясь, обсуждавших такое событие: «Когда с Гришки срывали галстук – ревел!» Комсомольцев на общем собрании исключали из комсомола. О моем аресте знали многие сверстники и однокашники Наталии, жившие в одном с нами дворе.

Но никто не проронил по этому поводу ни слова. Это был

самопроизвольный заговор молчания. Он раскрылся лишь, после моего освобождения, когда товарищи открыто поздравляли с этим Наташу.

* * *

Всей этой обстановке известную пикантность придавало одно событие, бывшее за несколько дней до ареста. Учительница истории и географии в школе была особой своеобразной и, несомненно, с некоторым психическим ущербом.

Вызвав Наташу, прекрасно отвечавшую урок об Америке (американская конституция), она все же поставила ей 4. На следующем уроке ученики, возмущенные такой несправедливой оценкой, спросили учительницу о причинах такой несправедливости, на что учительница дала такое разъяснение. В шаржированно-передразнивающем тоне она сказала: «А как она говорила об Америке? Ах, какая это замечательная страна, как там хорошо, я тоже туда поеду, у меня там тетя». Эту «тетю» учительница в обличительном пылу сама родила. Придя домой, Наташа рассказала нам об этом, и я решил, что на это я, как член КПСС, должен реагировать, так как такому восхищению Америкой 14-летней девочкой, бесспорно, может быть приписана родительская индукция.

Вместе с женой мы посетили директора школы, разумную женщину. Она случайно присутствовала на уроке во время ответа Наташи, и мы спросили у нее, заметила ли она что-либо особенное в этом ответе. Та, не зная о чем идет речь и поэтому держа себя настороженно-выжидательно, справилась у себя в записи о посещении этого урока и сказала, что ничего особенного, кроме какой-то стилистической мелочи, она не заметила. Тогда мы рассказали о цели визита. Она осторожно подтвердила, что за учительницей числятся ненормальные поступки, ставящие вопрос о продолжении ее деятельности, и что она с ней переговорит. Результатом нашего визита было то, что на следующем уроке учительница в присутствии класса извинилась перед Наташей, утверждая, что в ее замечании ничего предосудительного не было, и просила передать об этом отцу. Отец в это время уже был в одиночной камере Лефортовской тюрьмы. Как торжествовала бы учительница, если бы она об этом знала! Ведь это было бы подтверждением ее политического чутья. Но класс хранил молчание.

Еще о людях. До ареста моя жена заказала какую-то деталь туалета у частной портнихи (русской национальности). Когда,

уже после моего ареста, она пришла за этим, необходимым ей заказом, та, зная о ее положении, наотрез отказалась от денег в уплату.

И немного о «собаках». В поликлинике ученых, к которой были прикреплены я и моя семья, был детский врач (еврей по национальности), неоднократно навещавший моих детей. Во время моего ареста заболела Наташа, и жена обратилась в поликлинику с просьбой прислать этого врача, на что получила категорический отказ: поликлиника не обслуживала «врагов народа» и членов их семей. Тогда она обратилась непосредственно к врачу с просьбой навестить ребенка. Он приехал, пробыл недолго (была банальная ангина), и жена колебалась предложить ему гонорар, боясь обидеть врача. Но обиды никакой не было. Он спокойно взял гонорар – последние деньги, которые оставались в доме. Жадность победила и традицию, по которой врач в былые времена никогда не брал денег у врача (жена была тоже врач), и простую человеческую совесть, бывшую у портнихи.

Я отметил национальную принадлежность ряда персонажей для демонстрации общеизвестной закономерности, согласно которой любая национальность – это не определение этики.

Следствие

Но вернусь в комнату в нижнем этаже тюрьмы, где после путешествия врача по входным и выходным отверстиям организма я был облачен в казенное белье (тоже гигиеническое мероприятие!) и в сопровождении надзирателя отправился по каким-то внутренним лестницам к месту определенного мне обитания. Войдя в какую-то дверь, кажется, на третьем этаже, я оторопел: я увидел панораму, которую как мне показалось, я уже однажды видел, но где? Это был как бы внутренний замкнутый со всех сторон под общей крышей двор, каждая каменная стена которого состояла из нескольких, кажется четырех, этажей. Между каждым этажом была натянута по всей площади двора металлическая сетка, а внутренние бока каждого этажа были окаймлены во всю их длину галереей-балконом шириной около двух метров, Наружный край балкона, к которому была прикреплена междуэтажная сетка, был огражден железными перилами, В каждый балкон открывалось множество глухих дверей, ведущих в камеры для заключенных. Где же я видел эту панораму, или мне только показалось, что я ее видел? После мучительных воспоминаний я вспомнил: я видел ее в какой-то кинокартине, в которой был показан бунт заключенных в американской тюрьме Синг-Синг, закончившийся их массовым расстрелом. Весьма вероятно, что декорацией для этих кадров была тюрьма, в которую меня доставили, или тюрьмы всего мира построены по единому универсальному образцу.

Открылись двери одной из одиночных камер, и я был введен в нее. В ней были железная койка, накрытая тонким тюфяком, маленький стол со столовым сервизом на нем: алюминиевая миска, эмалированная кружка, ложка – весь нехитрый арестантский набор. Камера узкая, шириной около полутора метров, длиной около трех метров; в стене, противоположной двери, под самым потолком – зарешеченное окно с покатым подоконником во всю толщу стены. Справа от двери – зарешеченная батарея центрального отопления, излучавшая еле ощущаемое тепло. И огромное преимущество камеры: в стене, противоположной койке, – водопроводный кран с крохотной полукруглой раковиной и конусообразный стульчак, горловина которого сообщалась непосредственно с канализацией. Я сразу оценил преимущества сантехники: не было традиционной параши, которую надо было самостоятельно один раз в день выносить в общую канализацию, и это маленькое преимущество, по моей оценке, перекрывало аромат, который временами

излучал стульчак. Стены камеры окрашены масляной краской в густой зеленый цвет – символический цвет надежды, но здесь – цвет безнадежности.

После того, как закрылась дверь камеры, и я остался один, измученный до предела всеми событиями и двумя предыдущими бессонными ночами (была уже середина дня), я плюхнулся на койку и тут же получил первый предметный урок того, что такое «спецрежим». Я не был одинок, за мной непрерывно сквозь глазок в двери наблюдало бдительное око, на сей раз принадлежавшее женщине.

Она вдруг появилась в моей камере, «как мимолетное виденье» в форме тюремного надзирателя с беретом на голове, со злой мордой натасканной собаки, которая зарычала на меня: «Встать с койки, лежать днем не разрешается».

Незнакомый с бытом моего отеля, я наивно пытался урезонить ее разъяснением, что я двое суток не спал, но это разъяснение ее не убедило. Крайнее изнеможение еще несколько раз сваливало меня с ног, и всякий раз меня поднимало вторжение этой фурии. Я почему-то решил, что на такое истязание не было найдено подходящих мужчин и меня специально отдали под надзор бабам гестаповской выучки. Может быть, я и не ошибался, хотя с другими стражами женского пола я в дальнейшем общения не имел, но среди мужского пола попадались и не вполне законченные собаки.

В муках смертельной усталости и кошмара всех событий истекших дней, от которых единственным выходом, диктуемым физиологией, был бы уход в охранительное торможение, т. е. в сон, прошел первый день. Наступил вечер с тусклой электрической лампочкой в потолке, которая не столько освещала, сколько оттеняла мрак кошмара. Я сидел на своей койке и вдруг услышал ритмическое постукивание в стену из соседней камеры. Чтобы проверить, что это не случайность, я, сидя спиной к стене, чтобы замаскировать движение кистей рук от всевидящего ока в глазке двери, ответил на этот стук. Ответом был уже не ритмический, а бешеный по частоте стук в стену. Но я решил прекратить это общение через стену, т. к. не был подготовлен к нему, подобно царским узникам, владевшим этой техникой перестукивания с соответствующей азбукой. Вся обстановка советской тюрьмы – неизвестность того, кто были ее обитатели и мой сосед, вся политическая ситуация в стране и возможность того, что перестукивание – не метод ухода от одиночества к близкой по камере душе, а провокация, привели к тому, что на стук я больше не отзывался, и сосед тоже прекратил его.

Гнетущая тюремная тишина, нарушаемая только осторожным шарканьем за дверью обходчика-надзирателя и легким щелчком дверного глазка. Угадывается каким-то шестым чувством присутствие в этом мертвом доме многих сотен людей, замурованных в каменных ячейках. Около 10 часов вечера (по моим предположениям) бесшумно открывается дверь камеры, входит надзиратель, при появлении которого надо встать (это мне уже внушили). В руках у надзирателя какой-то клочок бумаги. Вопрос: «Фамилия, имя, отчество». После ответа (все это шепотом, отнюдь не из деликатной боязни разбудить кого-нибудь!) – короткое распоряжение: «На допрос», и в сопровождении этого «спутника коммуниста» (это название носила издаваемая когда-то еженедельная шпаргалка по текущей политике для агитаторов) я отправился на допрос.

* * *

Но сначала я хочу познакомить с общими условиями режимной тюрьмы, куда меня перевел мой отказ в даче требуемых признаний. В 6 часов утра открывалось окошечко в двери, сообщавшее камеру с внешней средой (через него передавалась и пища заключенному), и раздавался голос: «Подъем». Это было требование принять вертикальное положение, совершить несложный туалет и подготовиться к следующей процедуре – принятию через окошечко кружки тюремного «кофе», суточного пайка хлеба, вполне достаточного для пропитания, и сахара (два наперстка, или два куска) и, кажется, миски пшенной каши.

После завтрака – часы мрачных дум, прерываемых обедом из миски щей, в которых обнаруживалось несколько микроскопических кусочков мяса, и миски каши. Затем – продолжение тягучего и тягостного предобеденного интервала до ужина, состоящего из миски фасолевого или горохового супа с частицами мелкой рыбешки и кружки чайной бурды. После ужина – самые мучительные часы перед допросами (а они – ежедневно, за исключением воскресных дней), мучительные потому, что предстояло выслушивать целенаправленный вздор и парировать его здравым смыслом. Ожиданием этого сеанса борьбы здравого смысла с логикой обезьяны были заполнены часы после ужина. Ровно в 21 час 30 минут, т. е. за полчаса до отбоя, разрешавшего принять горизонтальное положение, появлялся «спутник коммуниста». Допрос продолжался до 5 часов утра, и на узаконенный режимом отдых оставался только 1 час в сутки. Но и

тот не мог быть использован по назначению по субъективным и объективным причинам.

Субъективные: после возврата в камеру продолжалось напряжение допроса, возбуждение, доходящее до лихорадочной тряски, как после тяжелого поединка, из которого необходимо было выйти победителем. Мысленное продолжение этого поединка продолжалось до подъема, застававшего в тяжелой нервной дрожи.

Объективное: в заботе о гигиене арестованного перед возвращением его в камеру часто отправляли в «баню», т. е. под душ, на что уходил оставшийся час для отдыха. А затем – опять подъем, и так день за днем, сутки за сутками без сна. Иногда я засыпал днем, стоя, но подкашивавшиеся ноги немедленно возвращали в бодрствующее состояние. Когда я закрывал глаза в сидячем положении, то немедленно раздавался окрик: «Встаньте, откройте глаза».

Особенно свирепствовал один надзиратель со злой мордой и гнилыми зубами. Однажды я, совершенно обессиленный, сидя, задремал и не заметил, как он ворвался в камеру. Он разбудил меня окриком: «Ты не видишь даже, что у тебя в камере делается, захотел вниз?» (намекая на карцер). Я пытался ему объяснить человеческим языком, полагая, что ему по собственному опыту доступно понимание элементарных физиологических основ, что я не сплю уже много суток, что я не в состоянии побороть сон, что он сильнее меня. Но щуке было бы более доступна молитва «отче наш», прочитанная благочестивой рыбешкой, чем человеческий язык, этому гестаповцу. На мое разъяснение он ответил кратко, но вразумительно: «Режим – это режим, а хочешь спать, обливайся водой, или я буду тебя поливать», с попыткой тут же привести эту угрозу в исполнение. Из его лаконичного, но исчерпывающего разъяснения я четко уразумел, что такое режим в исполнении МГБ. До этого я полагал, что режим – это система, существовавшая всюду, начиная с семьи, имеющая целью создание наиболее целесообразных условий для воспитания детей, для лечения (больничный, санаторный режим), спортивной, творческой деятельности и т. д.

В МГБ режим – это система подавления воли и сознания человека, для приведения его в состояние полного безразличия, в сомнамбулу, подчиненную воле и сознанию следователя. Лишение сна – самый мощный элемент этого режима. В критические минуты, я мобилизовывал все резервы воли и сознания, чтобы не превратиться в сомнамбулу и иметь силы изощряться в словесной дуэли, о чем еще придется сказать ниже. Мне сейчас трудно сказать, в течение скольких суток я был

совершенно лишен сна, вероятно, вплоть до перелома в ходе следствия. Во всяком случае, я никогда не предполагал, что можно выдержать такое длительное лишение сна, временами до галлюцинаций наяву.

Однажды я выразил свой протест «куратору» по поводу того, что меня лишают сна, на что он ответил: «Вас сюда доставили работать, а не спать». Я удивился не существу ответа, а термину «работать», который я не раз слышал от него. Так, например, к моему куратору неоднократно заходила молодая дама грубоватой, но миловидной внешности, тоже «сотрудница». С ней у него, по-видимому, были дружеские отношения. Однажды уже под утро, войдя в кабинет и переговорив с моим куратором, она предложила ему закончить дела и уехать, на что он ответил: «Я еще немного поработаю с Яковом Львовичем». Для него это была работа, за нее он получал деньги. Но почему это было работой для меня?..

* * *

В течение длительного периода у меня было полное отвращение к пище. Это была та психическая анорексия (потеря аппетита), которая в ряде случаев переходит в церебральную кахексию, т. е. в истощение, вызванное нарушением нормальной функции головного мозга (при тяжелой психической травме, у душевнобольных, при некоторых органических поражениях центральной нервной системы). Мои тюремные менторы посмотрели на это проще: они решили, по-видимому, что это – голодовка протеста, а всякое проявление протеста в режимной тюрьме не может быть допущено. Во всяком случае, однажды (это было на 4 или 5 день моего заключения) ко мне в камеру вдруг явился толстый полковник МГБ, судя по цели его визита и произнесенной речи – врач. Он был главным врачом тюрьмы и почтил меня своим визитом, чтобы уговорить принимать пищу. Он меня информировал, что хотя тюремная пища отличается от той, которую я получал на свободе, но она вполне доброкачественная. Свой краткий, жесткий по тону уговор он сопроводил угрозой принудительного кормления, оставив без внимания разъяснение, что я не ем не потому, что активно не хочу, а потому, что не могу. Чтобы избежать реализации его угрозы, я в дальнейшем перестал возвращать через окошко несъеденную пищу, а осторожно опускал ее в канализацию через стульчак. Но это, как и все, что происходило в камере, не укрылось от наблюдателей, и один из надзирателей, в котором

были несомненные проблески человечности (несколько слов я ему еще посвящу), однажды вошел в камеру и тоном доброжелательного упрека сказал: «Зачем вы это делаете? Ведь мы все видим. Надо кушать!» Об отношении к еде был информирован и мой куратор, который тоже меня убеждал (отнюдь не из человеколюбия) в необходимости есть для сохранения сил, которые мне еще очень понадобятся. Трогательное предупреждение! Такова была обстановка моего тюремного быта, в его будничной форме, не осложненной дальнейшими воздействиями, о которых речь впереди.

В мою камеру иногда доносились звуки из внешнего мира – ближайшего и отдаленного. Из ближайшего окружения однажды донесся громкий бред заключенного, несомненно помешавшегося. Это были выкрики отдельных, не связанных между собой слов, обращенные к какому-то Лешке, громкие уговоры надзирателя, безуспешно пытавшегося успокоить лишившегося рассудка заключенного. Через несколько часов он затих, или был увезен, что вероятнее.

Бредовые крики умалишенного в тюремной тишине звучат до сих пор, спустя много лет. Видимо, страшным было это сочетание тюрьмы и сумасшедшего дома в одних и тех же стенах.

Из внешнего мира иногда доносился рев аэродинамической трубы (поблизости, вероятно, был ЦАГИ), сотрясавшей стены здания. Первый раз я услышал его во время так называемой прогулки. Меня вывели на нее спустя несколько дней по прибытии, когда я еще не знал, что такое тюремная прогулка. Через какие-то переходы меня впустили в замкнутое высокими бетонными стенами пространство площадью около 40 кв. метров, из которого виден был только клочок неба и вышка с часовым. Едва я вступил в этот загон, как раздался рев трубы. Разумеется, это было случайным совпадением, но тогда, не имея еще опыта, я расценил это по-другому. Я решил, что меня ввели в эту бетонную коробку для расстрела и запустили сирену, чтобы заглушить выстрелы. Веселая прогулка! В дальнейшем я привык к этому реву и даже использовал его: садился на койку, поднимая воротник пальто, якобы закрывая уши от него, и, закрывая укрытые воротником от надзирательской бдительности глаза, пытался подремать «под шумок».

Один раз в 10 дней приезжала «лавка». Это была тачка, возница которой передавал через окно в двери набор продуктов: пачку печенья, пакет сливочного масла, копченую колбасу, иногда – репчатый лук, а также кусок туалетного мыла и папиросы. Деньги за это с аккуратной и точной щепетильностью удерживались из изъятых у меня и хранившихся у администрации

денег и из денежных передач моей жены. Остаток денег с пунктуальным расчетом был мне возвращен почтовым переводом по освобождении. Я не курил и однажды сказал лавочнику, чтобы он передал полагающиеся мне папиросы за мой счет кому-нибудь из заключенных, не имеющих денег для их приобретения.

Предложение было с негодованием отвергнуто. Спички держать не разрешалось, и как заключенные закуривали – не знаю.

Посвящением в арестанты была также процедура взятия оттисков пальцев (дактилоскопия) и фотографирование. Для этой цели меня вскоре по прибытии проводили в подвал, где был фотограф и стационарная фотокамера. Фотограф с профессиональной заботливостью усадил меня, придал должное положение, как в лучшем фотоателье, предложил застегнуть на пуговицу воротник казенной сорочки («а то некрасиво!»), сфотографировал анфас и в профиль, но, кажется, не поблагодарил, что было не единственным отличием от фотоателье. Затем здесь же намазал на подушечку пальцев черную краску, и мой дактилоскопический рисунок был увековечен для уголовного архива.

* * *

Однако надо вернуться в камеру к надзирателю, пригласившему меня на первый в этом доме допрос. Через какие-то переходы я был препровожден в здание учрежденческого типа с широкими коридорами, в которые открывались двери кабинетов, как в любом офисе. Я был введен в один из кабинетов, где меня ждал следователь, с которым накануне была встреча на Лубянке. Встретил он меня с прежней надменностью и каменным лицом, но, как показало дальнейшее знакомство, это была профессиональная маска. По существу, никакой надменности у него не было, лицо было подвижным, с живой мимикой. Напускную важность он сбрасывал, компенсируя ее другими профессиональными качествами следователя МГБ: нагловатой развязностью, воспитанной превосходством своего положения во взаимоотношениях следователь – заключенный.

Справа от входной двери были привинченные к полу стул и маленький стол.

Слева у стены в отдалении – большой стол, за которым восседал «куратор».

По-видимому, он гордился своим кабинетом, так как однажды в присутствии нескольких своих молодых коллег (по-

видимому, у них шла дискуссия на эту тему) обратился ко мне, как к арбитру (как я потом вычислил, это было в период намечавшегося перелома в ходе «дела»), с вопросом: «Какой кабинет мне больше нравится: его или тот, в котором меня накануне днем допрашивал какой-то полковник (об этом допросе и полковнике расскажу ниже)». Я ответил, что мне больше всего нравится мой невзрачный кабинет в прозектуре 1-й Градской больницы. Ответ вызвал удивленное переглядывание дискутирующих, причина чего мне была тогда непонятна. По-видимому, они уже знали о намечавшемся переломе в ходе «дела» и их что-то поразило в моем ответе.

Пригласив занять положенное мне место на привинченном стуле, следователь информировал меня о том, что он – мой постоянный следователь, что решение всех могущих возникнуть у меня вопросов зависит только от него (давая понять, что я принадлежу ему как одушевленная вещь) и что, следовательно, если я хочу, чтобы эти вопросы им решались в положительную сторону, то я должен вести себя хорошо.

Я хочу дать наперед общую характеристику этому следователю. Он отрекомендовался помощником начальника следственного отдела; почему меня им почтили – не знаю. К нему часто приходили для каких-то консультаций другие следователи, и я с нескрываемым любопытством разглядывал их. Это была молодежь, несомненно, с юридическим образованием, и у нас были общие знакомые среди профессуры. Посещавшие моего, следователи были люди с обычными человеческими лицами, во внешности которых не было ничего звериного; это вызывало мое удивление в силу диссонанса между такой внешностью и тем гнусным людоедским делом, которое они делали. Звериная внешность – это, по-видимому, сценическая и кинематографическая стилизованность подобных деятелей. Многие самые отъявленные душегубы, самые жестокие и бессердечные гестаповцы часто имели обманчивый вид херувимов. Один из следователей, посещавший моего, молодой парень с фурункулезом, был следователем жены Вовси. Я просил его передать ей привет (что он выполнил) и просил не очень ее мучить. Он запротестовал против самого факта мучений и спросил у меня, почему я так внимательно его рассматриваю. Я ответил, что из любопытства, что он напоминает мне кого-то из моих студентов и что его внешний облик плохо вяжется с его функциями. Он мне ответил: «А что, мы разве другие люди?» Они действительно считали себя людьми и, мне кажется, могли бы ими быть в другой общественной формации и в другой профессиональной области. Мой «херувим» был сложным парнем

– неглупым, хитрым, разбитным, со скудными, поверхностными, но все же какими-то сведениями из разных областей литературы и биологической науки. Может показаться странным, но у меня не осталось чувства озлобления или ненависти по отношению к нему. Более того, я до сих пор храню некоторые чувства благодарности ему за те проявления человечности, которые у него иногда проскальзывали, за те некоторые контакты и беседы на вольные темы, которые он иногда допускал и которые были для меня какой-то отдушиной в одиночном заключении. Иногда мне казалось, что в нем прорезывались какие-то элементы сочувствия к моей судьбе. Но при всем этом он был следователем МГБ и старательно выполнял свою роль: добиваться признания того, чего не было, и тенденциозно интерпретировать, соответственно заданию, то, что было.

После его информации о принципиальных основах наших взаимоотношений, я у него спросил о том, где я нахожусь. Он ответил: «В Лефортовской тюрьме». Я внутренне похолодел и понял, что мое дело – плохо. Лефортовская тюрьма имела самую ужасную репутацию среди всех московских тюрем. Считали, что из нее никто не выходил, что само заключение в эту тюрьму – это уже приговор, это – обреченность на самое ужасное. У моей жены был мистический страх перед этой тюрьмой, одно название которой повергало ее в ужас. К счастью, она не знала, что я в ней нахожусь, и думала, что я – на Лубянке. Она позднее говорила, что не выдержала бы, если бы знала, что я – в Лефортовской тюрьме.

Мне трудно сравнивать эту тюрьму с другими, на Лубянке я пробыл только сутки (об этом важнейшем эпизоде я ниже расскажу) и уловил лишь разницу в том, что там пищу приносила в камеру официантка в белом переднике и с белой наколкой на голове и что в камере не было санитарных приспособлений лефортовской одиночки, которые я высоко ценил. Но Л. С. Штерн, проведшая около трех лет на Лубянке и привезенная для устрашения в Лефортовскую тюрьму, где провела 20 суток, вспоминая этот период, назвала Лефортовскую тюрьму преддверием ада. Все познается в сравнении! Мне сравнивать было не с чем, и я был доволен, что все заключение провел в «одиночке», а не в общей камере. Я предпочел быть один, чем в обществе чужих, незнакомых товарищей по несчастью, каждый из которых мог оказаться провокатором. Лучше физическое одиночество, чем скованное одиночество в людском коллективе. Таким образом, хотя сие от меня не зависело, но один из пугающих факторов режимной тюрьмы – «одиночка» – совпал с моим желанием назло авторам режима. Трудно сказать,

насколько сохранилось бы это желание при длительном заключении.

* * *

Итак, начались ежесуточные ночные бдения с перерывом в воскресные дни, когда мой куратор, как и всякий трудящийся Советского Союза, имел право на отдых. Бдения начались, как я уже говорил, с определения взаимоотношений со следователем, информацией о месте моего обиталища и с одной очень важной информации. Бодрым тоном, имеющим целью, по-видимому, вселить бодрость в меня, мой куратор перед переходом к допросу предупредил меня, что расстрел мне не угрожает. Это – своеобразное начало следствия. В обычном судопроизводстве определение наказания вытекает из хода следствия и завершается вердиктом суда. У советской Фемиды сталинской эпохи все было поставлено с ног на голову – все было предопределено с самого начала, даже приговор. Впрочем, может быть, таким ободряющим прогнозом мой куратор хотел добиться от меня полноты и многообразия признаний без боязни расстрела, даже если эти признания будут чудовищным самообвинением в страшных преступлениях.

Освободить меня от этой боязни, вероятно, нужно было еще и потому, что статьи уголовного кодекса, по которым я был арестован (58,8; 58,10; 58,11), предусматривали расстрел. Я совершал свои преступления не в одиночку, а в организации (ст. 58, 11) и, следовательно, мог без боязни расстрела раскрывать и свое мнимое участие в преступной организации и выдавать и оговаривать других ее участников. В дальнейшем, однако, куратор решил лишить меня сознания, что я не буду расстрелян. Впрочем, этого сознания у меня и не было, несмотря на ободряющее предупреждение. Я знал, где я нахожусь, с кем имею дело, а смысл статей уголовного кодекса, за преступное нарушение которых я был арестован, и причитающееся за них наказание мне разъяснил куратор. Я не видел оснований, почему для меня могло быть сделано исключение. Статья 58,10 – антисоветская пропаганда, статья 58,8 – активные террористические действия, статья 58,11 – усиливающая значение предыдущих статей коллективным характером преступлений, совершенных в преступной организации. 58 статья – самая страшная в советском Уголовном кодексе, ею широко пользовались в годы сталинского террора. Чем она угрожает, я знал и до разъяснения следователя. По ходу следствия и по

результатам допросов он убедился, что не достиг успеха в признании мной не только участия в террористических актах группы «врачей-убийц», но и в самом существовании этих актов. Тогда он пустил в ход следующую аргументацию. «У вас репутация умного человека, а ведете вы себя как дурак». Эту характеристику я недавно слышал и от моей восьмилетней внучки, возмущенной тем, что я дал пьянице-плотнику деньги за намеченную работу вперед; деньги он, конечно, немедленно пропил и исчез. Внучка изрекла почти дословно слова следователя: «Дедушка с виду умный, а поступает как дурак». Я не обиделся, признав заслуженность характеристики, и вспомнил следователя.

Следователь подкрепил эту характеристику ссылкой на М. С. Вовси в качестве примера для меня. «Вот Вовси ведет себя как умный человек и, может быть, сохранит себе жизнь, а вы ведете себя как дурак». Я напомнил ему его заявление, что мне не угрожает расстрел, на что он ответил: «Это – как народ потребует!» Народ, конечно, потребует казней. Эту оптимистическую перспективу, кстати, я слышал от моего следователя и его коллег, обсуждавших вслух в моем присутствии намечаемый ритуал казней, совпадающий с тем, который я слышал, находясь на свободе до моего ареста. Не получив важнейших признаний обещанием сохранения жизни, он, по-видимому, решил достигнуть их угрозой казни. Должен, однако, сознаться, что, в силу особенностей моего характера, я не представлял себе реально эту угрозу. Для меня она была абстракцией, и в конкретную реальность превратилась бы, вероятно, непосредственно перед ее реализацией. Впрочем, может быть, этот психологический настрой не является моей персональной принадлежностью, это – жизненная сила в одной из ее форм…

Перейду к ночным бдениям. Передать все фантасмагорическое содержание их в виде связного повествования чрезвычайно трудно. На протяжении многих ночей жевалась одна и та же тема с многочисленными отвлечениями от нее в сторону к неожиданным вопросам куратора – неожиданным для меня, но, по-видимому, им заранее подготовленным. В технику допроса, вероятно, входили такие неожиданности, рассчитанные на растерянность допрашиваемого с тем, чтобы «подловить» его на этой растерянности. Эту же цель, вероятно, имел возврат к уже пройденному, авось и здесь образуется какая-нибудь щель, в которую следствие сможет влезть и расширить ее до размеров признания того, чего не было. Эти следовательские приемы неоднократно освещены в художественной литературе с

разной степенью таланта следователя, разным интеллектом подследственного, разным талантом писателя. Мне трудно сопоставить в моем деле талант следователя и интеллект подследственного. Должен, однако, заметить без излишней скромности, что последний «органами» был оценен высоко, как в их агентурной характеристике, так и в оценке одного из крупных деятелей МГБ (я не знаю его фамилии, по многим признакам он был в чине генерала), присутствовавшего на одном из допросов. Агентурная характеристика, с которой познакомил меня следователь, гласила, что я – крупный ученый, с именем широко известным в СССР и за рубежом, умный, хитрый, требующий внимательной настороженности при допросах. Таково же было и впечатление генерала, о чем мне сообщил следователь. Что касается агентурной характеристики, то я ответил на нее следователю, что произошла роковая для меня ошибка: была переоценена моя роль и мое место и в преступном, и в научном мире, имевшая следствием мой арест.

* * *

Все вопросы, бывшие предметом обсуждения ночных бдений, весь их сумбур, доступны систематизации. Они касались двух основных тем: 1) еврейский буржуазный национализм; 2) участие в террористических актах организации «врачей-убийц». Обе эти темы взаимно связаны и соподчинены в реальной преступной деятельности автора и других членов злодейской шайки.

Как и в первой встрече, беседа на конкретные темы началась с предложения куратора рассказывать о моих преступлениях. Самостоятельно конкретизировать их я не мог, так как никак не мог уразуметь, что такое еврейский буржуазный национализм. Мой следователь мне помог, зачитав показания одного из видных обвиняемых, касающиеся меня. В этих показаниях я был обрисован как защитник евреев – сотрудников Института морфологии Академии медицинских наук, подвергавшихся гонению. Это показание соответствовало действительности, я старался оказать посильную поддержку сотрудникам института, национальность которых была единственным поводом для создания для них тяжелых служебных и, следовательно, жизненных ситуаций. С этого момента в следствии началось мое прозрение, я понял, что такое еврейский буржуазный национализм и почему я – еврейский буржуазный националист, враг советского народа. Оказывается, создавать для евреев совершенно откровенно и беззастенчиво тяжелые служебные и

моральные ситуации, как это делал, в частности, начальник отдела кадров Академии медицинских наук профессор Зилов, – это не преступление, хотя соответствующая статья (антисемитизм) в нашем Уголовном кодексе имеется, и в двадцатых годах были случаи ее применения, А выступать в защиту обижаемых по национальному признаку и даже только сочувствовать им – это преступление, имеющее название – еврейский буржуазный национализм.

Я не стал отрицать своих взглядов по этому вопросу, я не считал их преступными. Вообще моя линия поведения в следствии была совершенно четкая, хотя следователь однажды сказал, что он не может ее понять. А линия была простая: признавать свои взгляды и действия, в которых не было ничего предосудительного (разумеется, с моей точки зрения), и категорически отрицать то, чего не было в действительности. Вот этой линии следователь никак не мог понять: почему я признаю и развиваю некоторые взгляды, квалифицируемые по пунктам 58 статьи, а другие, квалифицируемые по тем же пунктам, категорически отвергаю. Он, видимо, никак не мог понять, что я в своих показаниях нигде не лгу, хотя я не считал себя обязанным излагать все свои мысли по поводу окружавшей меня на свободе действительности. А эти мысли были, особенно в последний период, очень мрачными.

Став на стезю «еврейского буржуазного национализма», я с полным знанием вопроса излагал многочисленные факты ограничений, которым подвергались люди еврейской национальности в различных областях советской жизни и которые были мне известны.

Следующий допрос начался с заявления следователя, продолжающего «беседу» накануне. «Вот вы сказали, что имеются вузы, в которые евреи не были приняты. Это – возможно; но это не потому, что они – евреи, а потому, что никто из них не отвечал строгим социальным требованиям для поступления в этот вуз». По всей вероятности, он получил инструкцию о таком разъяснении во время коллективного обсуждения в следственном отделе материалов предыдущего допроса всех обвиняемых по данному делу, допрос и показания которых часто были перекрестными. Выслушав это «разъяснение» следователя, я сказал, что нахожу его очень интересным и что если будет суд, то я заявлю, что, по разъяснению следователя, при приеме в вузы социальный отбор превратился в национальный. Следователя это почему-то задело, поскольку он с запальчивостью воскликнул: «Вы меня передергиваете!» Я невольно улыбнулся такой переоценке моих возможностей и моих намерений в такой

ситуации. Я привел также те указания, которые мне, как заместителю директора Института морфологии, передавала зав. отделом кадров института. Эти указания, которые она должна выполнять и вынуждена была меня об этом информировать, заключались в препятствиях в приеме на работу сотрудников-евреев.

Я не помню, сколько ночных сеансов было потрачено на жвачку еврейского буржуазного национализма. Сеанс каждый раз имел финал в виде протокола стандартного литературного оформления. В первом протоколе я обратил внимание на то, что в «паспортной» его части, помимо основных данных (имя, отчество, фамилия и др.), написано: «бывший член КПСС». Я возразил против эпитета «бывший», говоря, что из партии меня не исключали. Следователь мне разъяснил, что я исключен из партии.

Это было явным нарушением Устава партии, согласно одному из пунктов которого ни одно решение в отношении члена партии не может приниматься без его участия, а тем более – в его отсутствие. Оказывается, я уже не был членом партии, еще находясь на свободе, хотя и эфемерной. Не хватало только, чтобы я в тюрьме начал борьбу за соблюдение основных партийных принципов и заявил бы протест против их нарушения!

В стиль протокола вносилось много штампованной экспрессии, в задачи которой входило эмоциональное усиление излагаемого преступного факта. Так, например, мое утверждение о допускаемых несправедливостях по отношению к лицам еврейской национальности при приеме на работу или при сокращении штатов в стилистической обработке изображалось так: «В диком озлоблении и звериной ненависти к советскому строю я клеветал на советскую действительность, утверждая, что лица еврейской национальности испытывают несправедливое отношение при поисках работы или увольнении с нее» (ручаюсь за общий стиль, но не за протокольную точность передачи самого факта). Иначе говоря, музыкальное озвучивание следователем пустякового факта придавало ему значение ужасающего преступления. Шутка сказать: дикое озлобление, звериная ненависть, клевета – ну как оставить на советской земле такого изверга! Расстрелять его!

Или – пример следовательской передачи одного факта из моей биографии. После демобилизации из Советской Армии весной 1945 года я не вернулся во 2-й Московский медицинский институт, где я был профессором патологической анатомии и заместителем директора (теперь это называется – проректор) по научной и учебной работе, а перешел в Институт морфологии

Академии медицинских наук, что отмечалось в приказе о моей демобилизации.

Одновременно я вернулся на работу в патологоанатомическое отделение 1-й Градской больницы (главный врач А. Б. Топчан), где должна была разместиться и моя лаборатория по институту. Эти факты следователь в первой редакции протокола, в которую я потребовал внести исправления, отказываясь его подписать в такой редакции, изложил так: «После демобилизации из Советской Армии я решил не возвращаться во 2-й Московский медицинский институт, а договорился с еврейским буржуазным националистом Топчаном, что моя дальнейшая деятельность будет проходить в 1-й Градской больнице». На мой протест против формулировки «решил не возвращаться», «договорился», «еврейский буржуазный националист Топчан», «дальнейшая деятельность» – эти словесные выкрутасы имели задачей произвести впечатление преднамеренного преступного сговора для переноса моей преступной деятельности в 1-ю Градскую больницу и для дискредитации Топчана, мой куратор, делая наивное лицо, пытался утверждать, что в протоколе все изложено в полном соответствии с фактами без всякой тенденциозности. «Ведь для того, чтобы вернуться в 1-ю Градскую больницу, надо договориться, что Топчан – еврейский буржуазный националист – нам известно, а всякая работа – деятельность и т. д.».

* * *

По ходу бесед на основную тему моим куратором вводились некоторые интермедии. Например, вопрос: «Как имя-отчество Когана?» Я отвечаю: «Борис Борисович». Следует смех: «Ха-ха-ха, Борис Борисович! Борух-Берко-Хаймович и т. д.» Я отвечаю: «Я в течение всего нашего многолетнего знакомства знал его как Бориса Борисовича, а его паспортное имя меня не интересовало». Далее продолжает куратор: «Кстати, везде по документам вы – Яков Львович, и под таким именем-отчеством вас знает вся Москва. Достаточно его произнести, как уже знают, о ком идет речь. А в одном из документов (он имел в виду мое метрическое свидетельство, выданное в 1898 году симферопольским раввином) видно, что имя вашего отца было не Лев». Я спокойно разъясняю:

«Действительно, полное имя моего отца сложное: Шамай-Лейбович Иоселевич Шабсович, но в быту он назывался Лев Иосифович. Если вам хочется называть меня Яков Шамай-

Лейбович Иоселевич Шабсович – пожалуйста ломайте себе язык, я мешать не буду» Ответа не последовало…

Вдруг неожиданный вопрос: «Почему вы отказались сдать комнату Баргу? Он тоже сволочь?» История эта такова.

Осенью 1952 года мы остались втроем в большой квартире из четырех комнат (жена, я и младшая дочь-школьница), ввиду отъезда на работу по назначению в г. Торопец нашей старшей дочери-врача. Ввиду затруднительного финансового положения семьи мы предполагали сдать одну комнату. Наши друзья порекомендовали нам их знакомого историка Барга, переехавшего в Москву из Львова, бывшего до 1939 года польским городом. Однако многолетнее опасение контактов с лицами из зарубежного мира, продиктованного подозрительностью к таким контактам со стороны МГБ, заставило нас воздержаться от сдачи комнаты бывшему польскому гражданину. О нашем отказе мы сообщили по телефону нашим друзьям. Этот факт, как и многие другие, был по-своему интерпретирован органами МГБ. Я разъяснил куратору причину отказа в сдаче комнаты Баргу, и на его недоверие к этой причине сказал ему, что они сами воспитали в советских гражданах страх перед контактами с чужеземцами. Куратор, однако, сохранил недоверие к этой причине и сделал вид, что видел ее в чем-то другом.

Среди внезапных «интермедийных» вопросов был задан такой: «Почему в перечне ваших знакомых, с которыми вы встречаетесь, вы не назвали Этингера?» Я не сразу сообразил, что речь идет о том перечне, который записал сотрудник МГБ при вербовке меня в осведомители в 1950 году, т. е. более двух лет тому назад. Я ответил, что, вероятно, забыл его назвать, чему куратор не поверил, сказав, что я это сделал умышленно. В этом он был прав. Я. Г. Этингер был словоохотливый человек, любивший политические темы, которые он обсуждал с первым встречным в любой обстановке. При этом он игнорировал скользкость некоторых тем его бесед для того времени. Несомненно, органы безопасности знали об этом, поскольку он не стеснялся вести подобные монологи даже во время обхода больных в его клинике в присутствии многих врачей. «Органы», бесспорно, не нуждались в моей информации о его высказываниях, но я не хотел, чтобы они приставали ко мне с этим для дополнительной дискредитации Этингера. Этот эпизод иллюстрирует, между прочим, что в секретном досье «органов» на советского гражданина – всякое лыко в строку, а что мое досье велось и пополнялось много лет, я узнал во время следствия и после него.

Однажды мой куратор стал зачитывать длинный список фамилий профессоров-медиков еврейской национальности, открываемый Певзнером, Збарским, с вопросом ко мне, кого из них я знаю. Я знал почти всех, поскольку медицинский мир Москвы тесен, а в этом списке большинство были известные ученые. Для какой цели был составлен этот список, остается тайной МГБ, но интересен самый факт его составления. Не для уничтожения ли их?

Я получил также несколько уроков об основах советской юридической науки, заложенных «корифеем» ее, академиком А. Я. Вышинским. Я, например, поинтересовался, зачем нужны мои признания в совершенных преступлениях, раз я изобличен в них еще до ареста, когда были известны не только мои преступления, но и определено наказание за них. Следователь охотно разъяснил, что сознание обвиняемого (состоящее из перечня вымышленных им самим преступных деяний) – это презумпция виновности. Я потом узнал, что этот принцип считается самым порочным в уголовном праве всех времен и народов. Далее, я поинтересовался, что такое антисоветские сборища, в которых я якобы участвовал. Следователь разъяснил, что это одно из определений преступного сообщества по систематике того же Вышинского.

Сборище – это группа людей, может быть, даже из 2-х человек, не имеющая никакого плана антисоветских действий, но ведущая беседы контрреволюционного содержания. Организация – это более высокая антисоветская ступень, имеющая программу и план контрреволюционной работы.

Подытоживая результаты многосуточного труда по доказанности обвинения в еврейском буржуазном национализме, куратор остался крайне недоволен ими и мной. «Что это за материалы?», – воскликнул он: «Хаима уволили с работы, Абрама не приняли на работу – это я мог бы узнать в любом месткоме. Мне нужны другие материалы». Я отвечал, что я могу дать только те материалы, о которых, действительно, можно узнать в каждом месткоме; других у меня нет.

Тем не менее и этих материалов оказалось достаточно для признания меня виновным по смертоносным статьям 58,8; 58,10; 58,11.

* * *

Следствие перешло к другому этапу – к материалам моего участия в террористической деятельности врачей. Собственно

говоря, я искусственно расчленяю эти этапы; по ходу следствия они переплетались, но мое отношение к ним было различным. Если я не только не отрицал своих действительных поступков и мыслей, характеризующих меня как «еврейского буржуазного националиста» в трактовке этого понятия МГБ, то террор я отрицал начисто и категорически. Я отрицал не только свое участие в нем, но категорически отвергал возможность террористических действий со стороны арестованных клиницистов. Я говорил, что знаю всех их, со многими имел тесный рабочий контакт и дружеские отношения. Это – превосходные врачи, преданные своему делу и неспособные нанести умышленный вред своим пациентам. Следователю мое упорство в этом вопросе, видимо, надоело, и он решил сломить его следующим вопросом: «А вы, находясь в это время еще на свободе, читали сообщение ТАСС 13 января 1953 года?» Текст этого сообщения приведен выше, и в нем указано, что обвиняемые признали свою вину. Мне ничего другого не оставалось, как ответить, что я этому не поверил. Последовала бешеная ругань, прерываемая словами: «Так вы считаете, что это провокация МГБ!» Возмездие последовало на другой день; мне трудно сейчас вспомнить, на какие сутки моей лефортовской жизни это было. Против обыкновения неожиданно меня вызывают на допрос днем, до обеда. В привычном кабинете я вижу моего куратора в необычное время. Вместо обычного «ну» – резкий вопрос: «Так вы будете давать показания или нет?» Я ответил стереотипным отрицанием.

Последовало резкое: «Встать, руки назад» – и вдруг за спиной металлическое щелканье, и руки оказались неподвижно зажатыми в металлические жесткие наручники бесшумно вошедшим тюремщиком. Трудно описать их конструкцию, резко отличающуюся от кинематографических наручников, имеющих вид круглых гладких браслетов, соединенных цепью. По сравнению с моими наручниками те имеют почти игрушечный вид. Я не знаю, запатентована ли конструкция наручников в советских тюрьмах спецрежима и засекречена ли она, но я думаю, что не выдам большой государственной тайны, если попробую их описать. Центральную часть наручников представляет плоский квадратный замок, размером приблизительно 8×8 сантиметров, толщиной около двух сантиметров. К обоим краям замка присоединены по две полулунной формы подвижных клешни, расходящихся и смыкающихся. Смыкающиеся края имеют зубчатую поверхность такого профиля, что при смыкании зубцы одной клешни входят в вырезки другой, образуя полный браслет вокруг запястий, на которые они надеваются. После смыкания обе

заведенные назад руки неподвижно зажаты в браслетах и соединены замком. При инстинктивной попытке освободиться от наручников или при резком движении руками зубцы клешней смещаются только в одну сторону, защелкиваются на следующем уровне с сужением кольца браслетов. Надо ли говорить о физическом воздействии этих не совсем ювелирных украшений? Неловкое движение руками – браслеты защелкиваются на следующие зубцы, запястья оказываются стиснутыми в металлическом обруче, после чего, спустя короткий срок, кисти рук превращаются в пухлые отечные подушки. А снимаются наручники только три раза в день на 5-10 минут для еды и естественных человеческих потребностей. На время, отводимое для сна, руки перекладываются наперед и в таком положении, сложенные на животе, снова заковываются в наручники.

Процедуру одевания и снимания наручников выполняют надзиратели. В том усердии, которое при этом проявляет тот или иной надзиратель, видна уже упомянутая дифференциация на собак и людей. Надзиратель-собака – особенно один из них – при каждом заведении рук за спину старался делать выламывающие и выворачивающие движения, причиняющие резкую боль, особенно левой руке, сломанной на фронте, и объем движений которой при заведении за спину был ограниченным. Наручники он надевал так, чтобы при ношении их грани браслетов причиняли боль. Человек (или получеловек) – надзиратель выполнял эту процедуру с каким-то виноватым лицом и даже один раз сказал мне то, на что он, вероятно, не имел права (вообще, надзирателям разговаривать с заключенным не разрешается): «Ведь нас заставляют это делать!» Он сказал это в ответ на мою просьбу не затягивать туго браслеты, но тут же разъяснил, что если их сделать свободными, то они будут болтаться на запястьях и травмировать руки. Он тщательно подбирал оптимальный поперечник браслетов при их защелкивании. Дополнительное «неудобство» этих наручников то, что они не дают возможности вытереть нос, почесаться, что тоже бывает необходимо человеку, даже если он еврейский буржуазный националист и террорист.

После награждения наручниками я тут же был отправлен в мою камеру.

Первое впечатление от всего происшедшего было ошеломляющим. Наручники были грубым вторжением в мой нудный, тягостный, но какой-то уже привычный быт.

Здесь что-то новое и несомненно угрожающее. Ведь закован я, конечно, не из опасения побега. Наручники – это не только дополнительное мучающее воздействие, но и символ ничтожества того, на кого они надеты. Я слышал, что приговоренных к казни

заковывают в наручники, а их символическое значение заключалось еще в одновременном автоматическом переводе на положение штрафника со всеми дополнительными ограничениями.

Я вернулся в камеру со смешанным чувством отчаянья, оскорбления, протеста против такого насилия и бессилия сопротивляться ему и дал выход этому чувству в том, что начал биться головой о стену. Вбежавшие надзиратели быстро совместными усилиями прекратили этот взрыв, приговаривая: «Хочешь стену прошибить? Угодишь вниз» (т. е. в карцер).

* * *

Затем потянулось опять наматывание кишки на палец, только теперь более энергичное, более настойчивое. В первый же вечер с еще сохранившимися остатками дневного взрыва я потребовал от следователя снять с меня наручники, на что получил, разумеется, категорический отказ. Он дал мне понять, что это не его инициатива, что я сам виноват в необходимости применять такую меру воздействия, и даже сказал: «Вы что – думаете, мне приятно видеть вас в наручниках? Но это результат вашего поведения». А затем каждую ночь тягучее вытягивание признаний в преступлениях, о которых я ничего не мог сказать, потому что их не было. Этого убеждения я держался твердо, несмотря на сообщение ТАСС 13 января, несмотря на наручники и ожидание еще худшего. По сфабрикованной в МГБ концепции арестованные преступники – профессора относились ко мне с большим уважением, с профессиональным доверием и посвящали меня в тайны и методы умерщвления, чтобы я мог при вскрытии трупа скрывать это. Вот эти тайны и методы я должен был раскрыть следствию. Они убивали, а я покрывал – вот в упрощенном виде схема роли и места каждого из многочисленных членов террористической организации «врачей-убийц».

Следователь стал навязывать мне логику, якобы бывшую двигателем преступных замыслов. Эта его, следовательская, логика должна была приводить меня к признанию совершенных преступлений, явившихся якобы финалом ее развития. Он стал излагать последовательный ход моих мыслей и мыслей других террористов, как он его представлял, приведший к выводу о необходимости террористических действий. В его изложении это звучало почти текстуально так: «Евреев преследуют, им не дают работать, создают тяжелые условия жизни, но где же выход? Надо с этим бороться!» А единственное средство борьбы, к признанию

которого он хотел меня довести, был террор – убийство инициаторов и руководителей притеснения евреев.

Я обратил внимание следователя на то, что организация «врачей-убийц» состояла не только из евреев, в этой организации, согласно официальному сообщению, были и русские профессора, видные клиницисты – Виноградов, Василенко, Зеленин, Егоров и другие. Что же ими двигало, против чего боролись эти совершенно обеспеченные и обласканные люди, не подвергавшиеся никакой расовой дискриминации? Эта моя интерпретация осталась без ответа и без внимания на нее. В народе их считали скрытыми евреями, и в этом было какое-то рациональное зерно, раз они разделили судьбу евреев-профессоров. Да и в самом деле, что такое советский еврей, какие признаки определяют в Советском Союзе людей этой национальности, не владеющих еврейским языком (многие никогда даже не слыхавшие его), считающих своим родным языком – русский, воспитанных на русской литературе, поэзии, впитавших русскую культуру, растворившихся в массе советского народа, преданных своей родине; многие из них активные строители советского общества, внесшие неоценимый вклад в различные области науки, культуры. По-видимому, в определении понятия «еврей» надо идти от противоположных показателей: еврей тот, на которого распространяется антисемитизм. С точки зрения этого определения правомерно включение в эту национальную группу врачей-террористов и русских по происхождению, раз на них распространили антисемитизм. В такой концепции нет ничего парадоксального, так как антисемитизм – имманентное людоедское чувство из области зоологии, проецирующееся на евреев; в доктрину его пытались превратить антисемиты всех времен и народов, и наиболее законченные людоедские формы ей придал германский фашизм.

Кстати, по поводу фашизма. Как-то мой эрудированный куратор спросил, знаю ли я, что фашизм – учение, созданное тоже евреями. Сам Геббельс не сказал бы, что это – продукт утонченного еврейского интеллектуализма (эту формулу он употреблял для презрительной характеристики многих достижений мировой культуры, чуждых фашистам). На вопрос куратора я ответил, что это вполне вероятно. Он с удивлением посмотрел на меня, не ожидая моей безоговорочной поддержки этой версии о творцах фашизма. На вопрос, почему и я так считаю, я ему ответил: «Многие крупные социальные доктрины были созданы евреями: христианство, марксизм; поэтому, может быть, – и фашизм».

Дальнейшего развития эта тема в нашем с ним «сборище» не получила, но характерна сама постановка ее, как естественное оправдание антисемитизма ортодоксальными марксистами из МГБ.

* * *

Вытягивание из меня признания участия в террористической деятельности даже при помощи сложных логических построений ни к чему не привело: «У вас логика одна, а у меня другая, поэтому в террористы я не гожусь» – отвечал я. А он бубнил свою подсказку: «Но ведь надо бороться, надо бороться». Мне и тогда было трудно решить, что доставляет большее отвращение – наручники или выслушивание этого собачьего бреда. К тому же надо было парировать конкретизированные элементы этого бреда здравым смыслом с тем же успехом, с каким глухонемому от рождения объяснять разницу между кваканьем лягушки и пением соловья. При этом все время в процессе допроса надо было быть в большом напряжении, чтобы не быть подловленным в каком-нибудь противоречии, не создать какую-нибудь трещину, щель в показаниях, которая может быть расширена и истолкована как признание террора. Трудно передать, каких усилий это стоило, и часто по возвращении в камеру меня трясло, как в сильном ознобе, было ощущение дрожи буквально в каждой клеточке тела. В своей жизни я несколько раз переносил тяжелые инфекционные заболевания с сильнейшим лихорадочным ознобом. Но ни по силе ощущения, ни по его качественному своеобразию мой «следственный озноб» не может быть сравним с лихорадочным.

Это была «трясучка» в полном смысле этого слова. Как патолог, представляю, что при этом сильнейшем стрессе происходило в эндокринной и нервной системах, и сколько надо было мобилизовать физических и моральных сил, чтобы справиться с этим суперстрессом. В обывательском жаргоне пребывание под арестом часто определяется словами «сидел в тюрьме», и длительность «сидения» считается мерилом его воздействия на заключенного, что нельзя отрицать. Но все же степень интенсивности его определяется не только сроком заключения, но и реагирующими системами организма и силой воздействия на них. Могу сослаться на свой короткий опыт «сидения» в Лефортовской тюрьме спецрежима в качестве подследственного по «делу врачей». По возвращении в камеру после каждой из ночей такого «сидения» я вновь переживал и критически осмысливал все детали следственной ночи, не сдался

ли в чем-нибудь, не сказал ли чего-нибудь, что может быть использовано в качестве компрометирующего факта против других арестованных. Так следственная ночь переходила в режимный день без минутки сна. По-видимому, брешей, которых я опасался, в моих показаниях не было, так как мой куратор мне несколько раз говорил: «Вот вы защищаете ваших друзей, а вам интересно будет узнать, что они о вас говорят, когда это будет вам зачитано». При этом он называл какой-то номер статьи уголовного кодекса, по которой, по-видимому, обвиняемого надо ознакомить с показаниями о нем сопроцессников. Весьма вероятно, что их показания были компрометирующими, если судить по одной детали из показаний М. С. Вовси, зачитанной мне следователем. Да и после, на свободе, М. С. Вовси и В. Н. Виноградов говорили мне, что они признавали все свои вымышленные преступления. М. С. Вовси мне даже рассказал, как от него потребовали признания в том, что он был и немецким шпионом, что при этом требовании он даже расплакался. Он им сказал: «Чего вы от меня хотите? Ведь я признал, что я был американским и английским шпионом, неужели этого вам мало? Немцы расстреляли в Двинске всю мою семью, а вы требуете, чтобы я признал, что был их шпионом?» В ответ я получил матерную ругань и требование: «Профессор, г-но, нечего запираться, был и немецким шпионом». Я подписал, что был и немецким шпионом» (рассказ М. С. Вовси передаю почти дословно). Примерно те же требования выполнил безоговорочно В. Н. Виноградов. Трагизм подобных признаний не только в личной ответственности за вымышленные преступления. Ведь все преступления совершались в организации, они были коллективными (статья 58,11), следовательно, надо было выдавать соучастников преступления. С этого момента признавшийся становился участником следственного процесса не в качестве обвиняемого, а в качестве разоблачителя. И такими разоблачителями логикой признания стали М. С. Вовси, В. Н. Виноградов и, может быть, другие обвиняемые.

София Ефимовна Карпай, врач кремлевской больницы, арестованная в 1950 году, волнуясь, рассказала мне, при случайной встрече летом 1953 года, об очной ставке в тюрьме с М. С. Вовси, В. Н. Виноградовым и В. Х. Василенко.

Они уличали ее в выполнении их «преступных» заданий при лечении больных. Она категорически отрицала не только выполнение этих заданий, но и самое получение их. На нее эта очная ставка произвела впечатление тяжелого бреда.

Но это не было бредом: это было выколоченное из «обличителей» задание следственных органов по «делу врачей».

Разумеется, очная ставка происходила не в уютном кабинете, в котором происходят интимные деловые беседы на высшем уровне, как это показывают на телевизионных экранах. Эта ставка, как обычно водится, происходила под неусыпным наблюдением тюремщиков, строго следящих за выполнением, без всяких нарушений, разработанных заданий, данных «расколовшимся». Присутствие тюремщиков было реальным напоминанием им о том, что их ждет при недостаточном «усердии».

Так «расколовшиеся» становятся свидетелями обвинения. Можно ли их обвинять или резко порицать? По выходе из тюрьмы мое отношение к ним было именно таким, и я не знал, как я себя поведу при встрече с бывшими сопроцессниками – «расколовшимися». Но в дальнейшем я критически пересмотрел свое отношение. Я понял, что вообще нельзя безотказно требовать от людей героизма. Можно ли требовать от всех людей одинаковой силы сопротивления одному и тому же чрезвычайному воздействию? Диапазон такого сопротивления чрезвычайно широкий – от полного отсутствия сопротивления до адекватности воздействию, где противодействие равно действию.

Индивидуальность проявляется и в избирательном отношении к качественному характеру воздействия. Один и тот же человек может вступить в единоборство с танком и падать в обморок при виде мыши или иглы шприца, нацеленной на него для производства инъекции.

Один мой близкий друг, известный ученый, совершенно откровенно сказал мне, что если бы он был арестован, то, зная себя, в течение получаса он бы «скис» и подписал бы все, что ему предложат, и сделал бы все, что от него потребовали бы.

Таков был общий страх перед пытками, которым подвергаются узники и сведения о которых проникали в массы в памятные 1937–1938 годы. Была полная безнадежность в возможности устоять перед ними и уверенность, что они рано или поздно закончатся требуемым признанием. В. Н. Виноградов говорил, что он сразу решил не дожидаться пыток и без них выполнять все требования тюремщиков, среди которых было и обвинение в шпионаже в пользу Англии и Франции.

* * *

Мы преклоняемся перед мужеством и с благоговением относимся к памяти тех, кто выдержал все гестаповские пытки и не пошел по пути предательства, и со смешанным чувством

жалости и презрения относимся к тем, кто не устоял. Но борцы погибали за идею. А репрессированные? Во имя какой идеи погибать? Что даст народу им же оплеванная их смерть? Нет морального стимула для сопротивления методам, «строжайше запрещенным советскими законами» (из правительственного сообщения об освобождении медиков). А в то же время маячит призрачная возможность избежать мучений, пыток и даже позорной смерти путем признания всего того, что требуют от тебя тюремщики. Несчастные в этой призрачной надежде (никогда, впрочем, не оправдывавшейся, как показывает опыт прошлых лет) скатываются на путь оговора даже своих близких друзей, а иногда и родных. Сам М. С. Вовси дал должную характеристику самому себе в период своего пребывания узником МГБ.

Спустя 6 лет после освобождения, которые он провел в заслуженном почете крупного ученого, замечательного врача и сердечного человека, у него развилась саркома ноги, потребовавшая ее ампутации (он вскоре после этого умер). Я навестил его на следующие (или вторые) сутки после операции. Он был в слегка возбужденном эйфорическом состоянии и сказал мне: «Разве можно сравнить мое теперешнее состояние с тем, которое было тогда? Теперь я потерял только ногу, но остался человеком, а там я перестал быть человеком».

Так «та система» лишала ученых, культурных и вполне добропорядочных в обычных условиях людей, их человеческих качеств. Какую же драму надо пережить, чтобы такое ужасное событие, как потерю ноги из-за злокачественной опухоли (о перспективах М. С., конечно, знал), считать пустяком по сравнению с фантасмагорией, созданной чудовищной фантазией организаторов «дела врачей»? Можно ли подходить с непреклонным осуждением жертв системы, перед жестокостью которой не могли устоять и закаленные в борьбе старые революционеры с опытом царских тюрем и каторги? Был все же моральный стимул и в сталинских застенках у узника сохранить свое достоинство человека. Таким моральным стимулом могло быть только твердое, бескомпромиссное и непоколебимое решение устоять перед наглым изуверством, не уступить ему, не идти по пути признания реальностью чудовищной фантазии тюремщиков, не предавать, т. е. не оговаривать никого. Но, кроме мобилизации нравственных сил, для этого нужна была и мобилизация физических сил, в которых у многих из арестованных пожилых людей, конечно, был недостаток. Над всем этим висело давящее убеждение в том, что рано или поздно тюремщики при помощи всей своей изощренной системы «вырвут из горла», по рекомендации Молотова, нужное им признание, так

лучше уж сделать его рано, не дожидаясь испытания этой системой.

«Сознавшиеся» не нуждаются в оправдании, т. к. оправдание – антитеза обвинению. Надо их понять, а следовательно – простить, как этого требует известная французская поговорка.

Пересматривая критически свое поведение в тюрьме и во время следствия, я не знаю, смог ли бы я устоять до конца при твердой воле не сдаваться и при мобилизации своих физических возможностей для этого. Я вспоминаю один эпизод – это было в период, когда в ходе следствия чувствовалась напряженность, следователь предупреждал меня, что для признаний остается мало времени и что если завтра я их не сделаю, то он откажется продолжать следствие и передаст его в другие, видимо, более жесткие руки. Я был уверен, что в этом было предупреждение о еще более жестких методах допроса. Накануне предполагаемого мной «дня пыток» из соседнего кабинета доносились вопли истязаемого, дикая ругань тюремщика и требование сообщить, какую контрабанду арестованный перевозил. Вопли несчастного переходили в какие-то хрюкающие стоны обессиленного истязанием человека. Может быть, это была устрашающая меня инсценировка? Когда меня на следующий день привели на допрос, меня трясло, как в тяжелой лихорадке, от ожидания пыток и от чудовищного напряжения воли, чтобы выдержать их. Следователь заметил мое состояние и даже участливо предложил вызвать врача, от чего я отказался. Я ему сказал: «Ведь вы собираетесь применить пытки, зачем же тут врач?» На это последовала ироническая реплика: «Думаете, что на дыбе вздернут?», дав понять, что пытки меня сегодня не ожидают. Нервы иногда не выдерживали и (что скрывать!) разрядкой бывали короткие слезы, но решимость выстоять не покидала никогда.

Я часто слышал упреки следователя: «Что за показания вы даете? Вы точно бросаете кости на собачью сковородку». Это была образная, но совершенно точная оценка тех материалов из обычной прозекторской практики, которые я ему давал и которые он мог получить на любой больничной клинико-анатомической конференции. Ставя мне в пример поведение других «сопроцессников», которые, может быть, и спасут себе жизнь, он в виде тяжелого упрека мне говорил: «Вас ведь на открытый судебный процесс вывести нельзя». Я понял из этого упрека, что будет открытый суд над «преступниками в белых халатах», в котором они будут сознаваться и каяться в своих чудовищных преступлениях, как и многие несчастные предыдущих судебных процессов, осужденные, несмотря на это, на смерть и посмертно

реабилитированные. На такое покаяние с моей стороны мои тюремщики не рассчитывали. Этот упрек я тогда рассматривал как критерий своего поведения во время допросов и сейчас, как и тогда, считал его одобрением в свой адрес.

* * *

Одержимость господствовавшей в МГБ идеей раскрытия заговоров охватила и моего куратора. В самом деле – если высшее начальство раскрыло заговор глобального масштаба в виде «дела врачей», то почему же ему не раскрыть (т. е. сочинить) «свой» заговор под его единоличным авторством, соответствующий по масштабу его чину, званию и служебному положению? Ведь это – сразу продвижение по служебной лестнице. И вот однажды мой куратор, по-видимому, выключив из своего сознания присутствие одного из заговорщиков, т. е. меня, стал с увлечением рисовать схему раскрытого им (в перспективе) заговора в 1-й Градской больнице. Точно видя перед собой аудиторию, с интересом слушающую его доклад, он изрекал в быстром темпе: «В центре – Топчан, от него нити тянутся…» – он стал называть фамилии евреев – работников 1-й Градской больницы (частью уже арестованных). Так может молодой начинающий ученый переживать в воображении свой будущий доклад о крупном, еще находящемся в мечтаниях, открытии перед восхищенной аудиторией. Мой следователь видел не меня, он в аутоэротизированном ослеплении видел внимательную и восхищенную аудиторию из генералов МГБ, перед которой он с указкой в руке тыкал в схему раскрытой им панорамы заговора. Это был настоящий творческий экстаз. Я не удержался и от всей души стал хохотать – до того смешным был этот открытый полет фантазии следователя МГБ. Мой хохот заразил и его. Он стал непроизвольно смеяться, но тут же быстро спохватился и, спустившись из своего полета в действительность, строго спросил: «Почему вы смеетесь?» Я ответил: «Вы с таким увлечением рисовали панораму сочиненного вами заговора, что трудно было удержаться от смеха». Он профессионально посерьезнел и перешел к очередным скучным делам. Эта коротенькая сценка в маленьком масштабе раскрывает механизм фабрикования и инсценировки заговоров разного масштаба в стенах МГБ. Здесь был ничем не сдерживаемый полет криминальной фантазии, жертвой которой пали тысячи и тысячи лучших советских людей. Дела по посмертной реабилитации этих жертв раскрывают механизм творчества этой адской драматургии,

и на моих глазах происходило таинство зарождения этого творчества и техники его развития. Для меня это было почти научно-исследовательское наблюдение – видеть заговор in statu nascendi (в состоянии зарождения).

Выматывание материалов о террористической деятельности шло своим чередом. Я должен сам ее изобретать, а ни изобретательности, ни фантазии, ни желания у меня на это не хватало. Для подсказки же, по-видимому, время еще не настало. Возможно, она откладывалась до очных ставок с непосредственными исполнителями террористических актов, подобных той, о которой мне рассказала С. Е. Карпай. Пока же мой куратор пробавлялся «костями на собачью сковородку», и не террористическими действиями, а террористическими высказываниями. К числу их принадлежит доложенное агентурой мое высказывание в адрес Маленкова: «Чтоб его черт побрал». В протоколе оно было зарегистрировано как пожелание смерти в соответствующем литературном оформлении («в дикой злобе и чудовищной ненависти» и т. д.). На мой вопрос, почему это высказывание, которое в крайнем случае может рассматриваться как ругательное, является пожеланием смерти, мой куратор, делая наивно-удивленное лицо, сказал: «Но ведь для того, чтобы черт побрал, надо умереть». В творчестве следовательского аппарата МГБ ни одна чертовщина не могла удивить. Но привлечь черта к преступным замыслам еврейских террористов мог только коммунист из МГБ. По-видимому, его партийный атеизм не разрешал веры в бога, а в черта – разрешал.

На всю эту галиматью, рассчитанную на совершенного дурака, я отреагировал соответствующим образом, отрицая, что в поминании черта я усматриваю пожелание смерти. Следователь же бубнил свое, сохраняя наивное лицо: «Но ведь для того, чтобы побрал черт, надо умереть, значит, вы в этом восклицании пожелали смерти товарищу Маленкову». Еще один пример железной логики! Ну, как опять не вспомнить гениального Свифта, открывшего прототипов сталинских охранителей государственной безопасности в Великой Академии в Лагадо, которую Гулливер посетил во время путешествия в Лапуту. «Один из профессоров этой Академии», как говорит Гулливер, «показал мне обширную рукопись инструкций для открытия противоправительственных заговоров. Он рекомендует государственным мужам исследовать, пищу всех подозрительных лиц; разузнать, в какое время они садятся за стол; на каком боку спят; какой рукой подтираются; тщательно рассмотреть их экскременты и на основании их цвета, запаха, вкуса, густоты, поноса или запора составить суждение об их мыслях и

намерениях» и т. д. Гулливер, однако, нашел результаты этих наблюдений неполными и сделал к ним свои добавления, за которые профессор его горячо поблагодарил. Он сказал профессору: «В королевстве Трибниа, где я пробыл некоторое время в одно из моих путешествий, большая часть населения состоит сплошь из разведчиков, свидетелей, доносчиков, обвинителей, истцов, очевидцев, присяжных, вместе с их многочисленными подручными и помощниками, находящимися на жалованье у министров и депутатов. Заговоры в этом королевстве обыкновенно являются махинацией людей, желающих укрепить свою репутацию тонких политиков; вдохнуть новые силы в одряхлевшие органы власти; задушить или отвлечь общественное недовольство; наполнить свои сундуки конфискованным имуществом.

Прежде всего они соглашаются и определяют промеж себя, кого из заподозренных лиц обвинить в составлении заговора; затем прилагаются все старания, чтобы захватить письма и бумаги таких лиц, а их авторов заковать в кандалы.

Захваченные письма и бумаги передаются в руки специальных знатоков, больших искусников по части нахождения таинственного значения слов, слогов и букв».

Далее Гулливер приводит примеры расшифровки их таинственного криминального смысла (сидение на стульчаке означает тайное совещание; метла – революцию; пустая бочка – генерала; гноящаяся рана – систему управления и т. д.).

Гениальный сатирик Свифт через века проник в тайны органов госбезопасности сталинской Лапуты и описал их как будто с натуры, до такой степени они копируют систему в королевстве Трибниа.

Смерть Сталина

Однажды (это было в конце февраля или первых числах марта) следователь снова меня предупредил о том, что у меня истекают не только дни, но и часы для добровольного признания. Он мне сказал в эти дни: «Я вам не враг», но тут же спешно поправился: «но и не друг, конечно. Я хочу, чтобы вы знали, что за ходом следствия следит сам товарищ Сталин и что он очень недоволен вашими показаниями. Учтите все это, а потом не пеняйте на меня». Я почему-то отнесся скептически к ссылке на Сталина, не слишком уж большое место, по моему представлению, я занимал во всем «деле врачей», чтобы мной стал интересоваться Сталин. Лишь после XX съезда КПСС и доклада Н. С. Хрущева на нем о «культе личности» подтвердился интерес Сталина к ходу следствия по делу врачей, и, возможно, он обратил внимание или рекомендовал обратить его на упирающихся от признания своих преступлений. Но я посчитал заявление следователя запугивающим приемом.

В один из этих напряженных дней (точнее – вечеров), когда я был введен в кабинет для очередного допроса, следователь обратился ко мне с заявлением, что сегодня я нужен как эксперт, а не как подследственный, с предложением ответить на ряд следующих вопросов: «Что такое Чейн-Стоксовское дыхание?» Я ответил, что это одна из форм так называемого периодического дыхания, и разъяснил его сущность. «Когда встречается такое дыхание?» Я ответил, что физиологически оно бывает у младенцев, а у взрослых возникает при тяжелых поражениях центров дыхания в головном мозгу – при опухолях мозга, кровоизлияниях в мозг, тяжелых токсических поражениях мозга, например при уремии, тяжелом артериосклерозе мозга. «Как повлиять на Чейн-Стоксовское дыхание, чтобы ликвидировать его?» Я ответил, что влиять надо не на самое дыхание, а на причины, его вызвавшие. «Может ли человек с Чейн-Стоксовским дыханием выздороветь?» Я ответил, что это очень грозный, часто агональный, симптом и что при наличии его в большинстве случаев необходимо умереть (я так и сказал: «необходимо!»). Все ответы он тщательно, с внешней невозмутимостью записал. Я полагал, что речь идет о какой-то истории болезни, фигурирующей в деле кого-то из арестованных. Далее следователь спросил, кого из крупных специалистов я мог бы порекомендовать для очень серьезного больного. Я ему ответил, что не знаю, кто из таких специалистов находится на свободе, чтобы я мог его рекомендовать. Он был в затруднительном

положении, так как ни в коем случае не должен был знать о том, что делается «на свободе», подследственный из режимной тюрьмы. Он повторил свой вопрос, сказав: «Ну, а все-таки?» Я ответил: «Отличный врач Виноградов, но он – у вас. Превосходный врач Вовси, он тоже у вас. Большой врачебный опыт у Василенко, но он у вас. Прекрасный диагност Этингер, он у вас. Серьезные врачи оба Коганы, но один из них давно умер, а другой у вас.

Если нужен невропатолог, то самым крупным клиницистом-невропатологом я считаю Гринштейна, но он у вас. В качестве отоларинголога я рекомендовал бы Преображенского или Фельдмана, но они оба у вас». В общем, я перечислил всех крупных специалистов (это был длинный перечень), которых я мог бы рекомендовать в качестве врачей, но все они оказались «у вас», и предложил назвать мне остающихся на свободе, чтобы я мог дать им рекомендацию, соответствующую их врачебным качествам. Он задумался и назвал мне четыре фамилии. Ни одному из их носителей (хотя двое имели громкое имя в советской науке) я не мог дать рекомендации, приближающейся к той, которую я дал арестованным специалистам. Он очень удивился и даже начал спорить, ссылаясь на то, что один из них – академик Академии медицинских наук. На это я ответил, что он просит рекомендовать опытного врача, а не академика, и что это – не одно и то же. Лишь одного из четверых я мог рекомендовать как врача, но рангом гораздо ниже арестованных.

По выходе на свободу и знакомству с газетами февральско-мартовского периода 1953 года я увидел, что вся «экспертиза» была посвящена бюллетеням о болезни Сталина и врачам, подписавшим их. Оказалось, что аналогичные «экспертизы» давали заключенные профессора М. С. Вовси, Э. М. Гельштейн, а может быть, и другие сопроцессники, и оба дали совпадающие с моей характеристики врачебному профессионализму лечивших Сталина профессоров.

Сложилось впечатление, что соратники и эпигоны Сталина хотели выяснить прогноз его болезни, не может ли он выздороветь, не слишком ли хорошие врачи его лечат и, не дай бог, вылечат. Моя «экспертиза» должна была их успокоить, и ближайшие события подтвердили ее профессиональную безупречность: «необходимость» умереть стала доказанной. Больной скончался 5 марта, но я в своей лефортовской одиночке об этом ничего не знал и не подозревал, что эта смерть Сталина спасла мне и многим другим жизнь и радикально изменила общественно-политический климат в СССР.

* * *

После «экспертизы» ничто не изменилось в моей обстановке: те же наручники, те же допросы, только несколько изменился характер допросов и их напряжение. Последнее я скорее ощутил, чем осознал. Следователь стал как-то ленивее, с меньшей экспрессией задавал свои глубокомысленные вопросы, часто исчезал, оставлял вместо себя надзирателя, дремавшего, сидя на диване, и просыпавшегося с виноватой улыбкой.

9 марта (я запомнил эту дату) меня вдруг вызвали на допрос днем и ввели в другой кабинет. Там сидел какой-то полковник и мой следователь. Внешность полковника поразила меня полным отсутствием хоть какой-либо симпатии, которая все же хоть в какой-то мере была на лице моего следователя и приходивших к нему часто его молодых коллег. Маленького роста, щуплый, с мордой какого-то мелкого хищного животного – то ли хорька, то ли крысы, на которой была написана злоба и ненависть к всему человеческому. Я подумал: «Не дай бог попасть к нему в лапы». Допрос вел он при угодливом поддакивании моего куратора. Я не могу пересказать детальное содержание всего допроса, где вопросы были густо пересыпаны отборной матерщиной. Она встречалась иногда и у моего следователя, но не носила такого злобного характера, и я иногда, чтобы снизить в его глазах производимое на меня ею впечатление от нее, показывал, что и мне знакома «изысканность русской медлительной речи» и что я владею этим лексиконом, хотя и хожу в еврейских буржуазных националистах.

В «беседе» с полковником террор занимал относительно мало места. Я говорил ему, что ошибки встречаются в деятельности любого врача, что они обсуждаются на открытых клинико-анатомических конференциях без вмешательства судебных органов, за исключением разве тех редких случаев, когда они были результатом преступной небрежности. Такие ошибки встречались в моей практике у многих крупных хирургов, в том числе и у Бакулева, и они с полной откровенностью говорили о них, иногда и до вскрытия.

На эту элементарную информацию о принципах взаимоотношений клинициста и патологоанатома мой злой оппонент угрожающе зарычал: «Ну что же, мы и Бакулеву покажем». Что он «покажет», он не доложил. Тема о принципах этих взаимоотношений неоднократно звучала в дискуссиях с моим «куратором», и когда он однажды стал утверждать непогрешимость органов МГБ (в ответ на мое утверждение, что такие ошибки делаются и, в частности, они допущены и в

отношении меня и повели к моему аресту), я ему ответил: «Ошибки делаете и вы, и мы, разница между ними лишь та, что ваши ошибки обычно ведут к смерти ваших пациентов». Попытка дать такое разъяснение полковнику вызвала только бешеную ругань, в противоположность моему «куратору», который относился к этому более спокойно, упорно утверждая только непогрешимость МГБ в отношении меня и других моих коллег.

Центральной темой допроса, проводимого полковником, были мои отношения к Маленкову, а не террористические акты, что меня несколько удивило.

Агентурные сведения приписывали мне высказывания, что Маленков «сволочь и сукин сын», и я не стал категорически оспаривать возможность употребления мной этих эпитетов. Дальнейшие события в истории партии и советского государства могли придать этим эпитетам пророческий характер; я мог бы похвастаться, что я давно предвидел его, Маленкова, соответствие этим эпитетам. В далеко не отеческих, а больше «материнских» выражениях полковник укорял меня за мое отношение к Маленкову, который столько сделал для победы над фашистской Германией и вот – благодарность! Я сидел с понуро-повинной головой – что я мог возразить?

Далее, произошел диалог, который я могу передать почти дословно, такое впечатление он оставил. «Много ли евреев он натаскал к себе?» – обращение к следователю. Тот угодливо: «Нет, не успел». Я вставил: «Как это не успел: за столько лет работы мог успеть». Полковник: «Назовите фамилии ваших сотрудников». Я назвал: «Архангельская». Полковник: «Имя, отчество?» «Надежда Васильевна». Полковник: «Еврейка!» Я оторопел: «Архангельская, еврейка?» «Да, да, еврейка». У меня что-то помутилось: неужели Архангельская скрытая еврейка, и я это не видел, зная ее на протяжении более 20 лет? В мыслях мелькнуло: у нее действительно не чисто русская внешность, нос с горбинкой, может быть, действительно еврейка, и МГБ это известно, а мне нет?

Полковник: «Дальше – фамилии сотрудников», «Березовская». Полковник: «Имя, отчество?» «Елена Константиновна». Полковник: «Еврейка». Я опять оторопел, мелькнула мысль: у нее муж еврей, может быть, и она скрытая еврейка.

Полковник: «Дальше кто?» «Горнак». Полковник: «Имя, отчество?» «Клеопатра Алексеевна». Полковник: «Еврейка!» Тут я понял, что разыгрывается какой-то фарс, и не отреагировал на эту «еврейку». Полковник: «Кто еще?» «Баранов».

Полковник: «Имя, отчество?» «Алексей Иванович». Полковник: «Еврей». (Отец Баранова, коренного москвича, был до

революции владельцем трактира на Калужской площади). Тут я ответил: «Если Баранов еврей, то у меня есть только одна сотрудница русская – Коган Рахиль Пинхусовна».

Полковник: «Тебя что – сюда привезли издеваться над нами? (грубая матерщина). Ты нас предал, когда тебе предлагали сотрудничать с нами, а теперь еще издеваешься?» Действительно, в моем положении только и оставалось, что издеваться! Меньше всего это входило в мою роль! До сих пор остается для меня неясным смысл разыгранного фарса с евреями-сотрудниками.

Переключение центра тяжести моих преступлений с терроризма на оскорбления Маленкова мне стало понятным только после обнажения всей ситуации на XX съезде КПСС, но об этом – ниже. Во всяком случае я более чутьем, чем логикой, уразумел, что теперь моя основная вина заключается в ругани по адресу Маленкова, что тоже является по канонам тех времен государственным преступлением. Поэтому неожиданным для меня был финал «беседы» с полковником, когда он, обратясь к моему следователю, дал ему распоряжение снять с меня наручники.

Я терялся в догадках, что значит весь этот балаган, почему удостоил меня визитом полковник среди бела дня. Только для того, чтобы выяснить мои отношения к Маленкову? Их знал мой следователь и легко мог протокольно оформить их с поминанием «сволочи и сукиного сына». Все это я уразумел, когда очутился на свободе.

В глухих стенах одиночной камеры Лефортовской тюрьмы я не знал того, что знал полковник. Он знал, что сегодня хоронят Сталина, что машина «дела врачей» уже вертится в обратную сторону, что эксперты уже отказываются от своих обвиняющих заключений. Он знал, что во главе нового правительства стоит Маленков, и по сложившемуся холуйскому усердию решил ему угодить.

Версия о еврейских террористах превращается в зловонный дым, а с этим он, активный участник этой версии, теряет меня, как одного из объектов ее. Надо попытаться использовать меня, как полуфабрикат для другого блюда, авось оно понравится новому главе правительства. Но расчеты не оправдались, это блюдо уже утратило свой вкус и остроту вместе с «поваром – мастером готовить острые блюда».

* * *

Освободившись от наручников и вместе с ними от всех

связанных с ними дополнительных санкций, я, вернувшись в свою камеру, первым долгом потребовал побрить меня. Бритье производил обычно кто-то из надзирателей, вооруженный безопасной бритвой. Вслед за ним пришла «лавка», снабдившая меня дополнительными продуктами – колбасой, маслом, печеньем. Возобновилась «нормальная» жизнь заключенного в режимной тюрьме, включая периодические прогулки в бетонном загоне. Я принял все эти благодеяния, не понимая, чем я их заслужил. Почему полковник, начавший за упокой, кончил за здравие и сменил свою агрессию на амнистию – я понять не мог, но от «амнистии», разумеется, не отказался. Какой-то спад произошел и в следовательском процессе. Хотя после беседы с полковником следователь информировал меня, что следствие будет продолжаться, но исчезла его ретивость. Были беседы на вольные темы, и в одной из них я изложил ему биолого-философские основы моего оптимизма. Он «работал», но без всякого прежнего вдохновения, без экспрессии, точно из него вытащили какой-то идейный стержень. Его ночные отлучки стали еще более длительными, под утро он прибегал и наспех стряпал видимость протокола допроса размером в полстраницы. Каждый ночной сеанс должен был кончаться протоколом, но и по объему, и по бессодержательному содержанию последних протоколов ясно было, что это – формальная дань установленному порядку. Халтурная была работа: ни «дикой злобы, ни звериной ненависти» – скучно даже было читать и подписывать такие протоколы!

Не могу не сказать, что я с нетерпением ждал финала следствия, который не обещал мне ничего хорошего. Самым оптимальным в моих надеждах была высылка в концентрационный лагерь, за пределами которого я рассчитывал на время и на коррективы, которые, возможно, оно внесет. Это была самая радужная перспектива. Но коррективы, на которые я надеялся, судьбой были внесены раньше.

Конец «дела врачей»

Вечером 14 марта в камеру вошел надзиратель, но, вместо обычного маршрута на допрос, повел меня вниз, в комнату, которая меня гостеприимно приняла по моем прибытии в Лефортовскую тюрьму. Там меня опять встретила милая докторша, и повторился ритуал личного обследования, но без заглядывания в «корень» (т. е. в задний проход). После этой процедуры – упаковка в знакомую уже карету. После длительной поездки, по выходе из «черного ворона» я узнал уже знакомый мне внутренний двор Лубянки. Со двора – в бокс. Кстати, с этой непременной архитектурно-строительной деталью и ее назначением надо познакомить читателя, поскольку это знакомство, надо надеяться, останется только литературным. Бокс – это просто обыкновенный шкап, куда запихивают арестованного по пути куда-нибудь, оберегая его и встречных от нечаянной встречи с таким же ведомым по тюремным коридорам узником. Сигналы о приближающейся встрече даст спутник-надзиратель либо пощелкиванием пальцами (в Лефортове), либо постукиванием ключом по поясной бляхе (в Лубянке). По характеру сигнала, таким образом, может с завязанными глазами узнать узник, где он находится, в какой тюрьме. Это пощелкивание – своеобразное нарушение могильной тишины режимной тюрьмы, часть ее дыхания, символ ее деятельности.

Однако надо вернуться в бокс (на этот раз – не шкап, а небольшой чулан с скамьей для сиденья), в котором я сидел взаперти, без всяких мыслей о том, что меня ожидает за его пределами, какие перспективы меня ждут. Оптимистическими они, разумеется, не были. Телефонный звонок за дверьми бокса, – я услышал повторенную дежурным мою фамилию, дверь бокса раскрылась, и я в сопровождении спутника поднят на лифте на какой-то высокий этаж. Затем – «коридоры в коридоры, в коридорах – двери», и в одну из них я введен в кабинет, где прямо против двери лицом к ней за большим письменным столом сидел коренастый седовласый генерал в штатской форме. Я его сразу узнал, он однажды молчаливо присутствовал короткое время при моем допросе. Перед столом в кресле слева сидел полковник с физиономией хорька, знакомство с которым было у меня более длительным: это он допрашивал меня 9 марта днем и утверждал, что все мои сотрудники – евреи. Где-то в тени, в глубине кабинета сидел мой следователь (я его даже не сразу заметил). Генерал встретил меня неожиданным, по мягкости тона и по форме, приветствием: «Здравствуйте, Яков Львович!» Так

встречает врач прибывшего в санаторий нового больного, это – лицемерный символ внимания к человеку.

«Паспортные» данные генерала мне не были известны и остаются неизвестными до сих пор. Поэтому на его приветствие я ответил лаконичным: «Здравствуйте». Я был более удивлен, чем обрадован самим приветствием и его формой, так как в этом учреждении подобное приветствие могло быть и издевательской прелюдией к чему-то грозному, игрой кошки с мышкой. Поэтому с настороженностью я встретил внимательно-изучающий и, как мне показалось, сочувствующий и доброжелательный взгляд генерала и последующее за ним обращение к полковнику: «Что за вид у профессора?» Меня поразило и слово профессор в такой ситуации, где я был только врагом народа, и скрытый упрек полковнику, если это только не было скрытой издевкой. Вид у профессора был, действительно, не величественный: остриженный наголо, небритый, на резко похудевшем лице – выдающийся нос; арестантская рубаха без пуговиц, пиджак – тоже без пуговиц, брюки, болтающиеся на единственной спасительной пуговице. Иногда, глядя на себя в водяную поверхность (в заполненную водой миску), заменявшую мне зеркало, я сам приходил к выводу, что натурой мужской красоты я быть не могу.

На вопрос, поставленный полковнику, ответил я следующий возбужденной репликой: «Какой вид? Наверное, устрашающий, какой должен быть у еврейского террориста». Как бы отвечая на мою реплику, на содержащуюся в ней и по существу и по тону злость и обиду, генерал обратился ко мне со следующими словами (помню их почти текстуально): «Яков Львович, забудьте о том, что было на следствии. Ведь следствие – это следствие, по ходу его всякое бывает (в этих словах я уловил скрытое извинение): скажите с полной откровенностью, что же в действительности было. Не бойтесь никакой ответственности за свои слова, я даю вам слово, что никаких последствий все, что бы вы ни сказали, иметь не будет». Я без задержки ответил: «Да ничего абсолютно не было. Были честные советские люди, преданные советской стране и тому делу, которому они служили. Единственное, что было, – это расслоение профессуры по национальному признаку, которое возбуждали и поддерживали черносотенцы, некоторые из них – с партийными билетами. К таким я в первую очередь отношу во 2-м Московском медицинском институте, обстановка в котором мне знакома, профессоров Г. П. Зайцева, заместителя директора по научной и учебной работе, и В. А. Иванова, секретаря партийной организации института.

Они создавали атмосферу расслоения, организовывали

подлинную травлю профессоров-евреев, способствовали возникновению у них чувства протеста и подавленности, тем более что один за другим они под разными предлогами изгонялись из института».

Генерал подал реплику-вопрос: «Но ведь они были советскими людьми?», на что последовал мой горячий ответ: «Конечно, это были превосходные педагоги и ученые, вкладывавшие в преподавание всю свою душу, воспитавшие тысячи врачей, и их активная деятельность в немалой степени способствовала репутации 2-го Московского медицинского института, как лучшего медицинского вуза в СССР». Далее я повторил многие факты дискриминации евреев, признания которых являются тяжким обвинением в «еврейском буржуазном национализме».

Затем следовал вопрос о Вовси, – что я могу о нем сообщить. Я ответил, что знаю М. С. Вовси много десятков лет, и все, что я о нем знаю, совершенно не вяжется с ним, как с политическим деятелем, поскольку он всегда был далек от политических проблем. У него не было интереса к ним и в силу некоторых особенностей его характера, к которым относится эгоцентризм и забота о собственном благополучии и благополучии семьи. Я сказал, что знаю о тяжелом положении, в котором находится М. С. Вовси, признавший свою вину в террористической и шпионской деятельности. И тем не менее это признание абсолютно противоречит моим представлениям о Вовси (при этом генерал и полковник переглянулись). Тем более полной неожиданностью для меня было сообщение 13 января 1953 года, в котором М. С. Вовси изображался как лидер антисоветской террористической организации, роль которой абсолютно не соответствовала его общему облику. Кроме того, ведь М. С. Вовси был во время Отечественной войны главным терапевтом Красной (Советской) Армии и первым организатором терапевтической службы в Армии во время войны – роль, с которой он блестяще справился. Доверие, оказанное ему таким важнейшим поручением, предполагало, что он политически проверен и перепроверен, и поэтому выдвинутые против него обвинения в преступлениях, в которых он признался, были громом среди ясного неба. Потрясал не только характер преступлений, но и то, что их совершил М. С. Вовси. Я на протяжении многих лет общался с М. С. Вовси и редко слышал от него высказывания на политические темы. Во всяком случае, ни одно из них не застряло в моей памяти, я скорее помню, что я ему говорил (в частности, о положении дел в Институте морфологии), чем то, что он говорил мне, хотя он – главарь политической антисоветской организации, в которую я

якобы вхожу. В тюрьме я узнал, что со мной вместе в нее входит Е. М. Вовси, брат погибшего артиста С. М. Михоэлса (Вовси) и двоюродный брат М. С. Вовси. С ним я едва был знаком, несколько раз видел его на даче, которую снимал М. С. Вовси по соседству с моей. Я не столько видел его, сколько слышал: он любил (но не очень умел) петь и нередко нарушал своим пением дачную тишину. Оказалось, что мы с ним состоим в одной и той же преступной организации, о которой, вероятно оба до ареста и не подозревали.

* * *

Генерал поинтересовался и моей деятельностью как патологоанатома (в аспекте приписываемых мне преступных действий). Я рассказал ему вкратце о принципах и формах взаимоотношений патологоанатома и клинициста, и что эти взаимоотношения требуют от патологоанатома доброжелательного уважения к труду клинициста. Я сам никогда не становился в позу прокурора и внушал это своим ученикам и сотрудникам, предлагая им представить себя самих у постели больного или у операционного стола в трудных случаях. Задача патологоанатома объяснить существо болезненного процесса и раскрыть существо и природу ошибки лечащего врача, если она была допущена, а не быть обвинителем, если только имеем дело с добросовестным врачом, а не невеждой и медицинским хулиганом (на моем пути такие встречались, хотя и крайне редко). Серьезные ошибки я встречал и у крупных клиницистов с мировой известностью, и если бы я становился в позу прокурора, то перегрузил бы судебно-следственные органы результатами своей деятельности.

Все это я изложил генералу. Он слушал меня с большим и, как мне казалось, доброжелательным вниманием. Я говорил искренне, мне нечего было скрывать. Я излагал свое политическое и профессиональное кредо, и мне казалось по выражению лица генерала, что оно вызывает у него сочувственный интерес. Только лицо и поза полковника выражали полное бесстрастие и негативное равнодушие. Впрочем, я на него обращал мало внимания, почуяв, что он здесь не главный герой, раз к нему обращен упрек за «вид у профессора», а в его позе были только какие-то едва уловимые остатки независимого холуйства. Вскользь был затронут вопрос об Израиле, но я понял, что в общем контексте это – вопрос второстепенный. Я помню только, что мой собеседник, а за ним и

я не проявили особого внимания к этому вопросу: в то время он не имел последующей остроты. Помню только, что я сказал, что мое сочувствие, разумеется, было на стороне Израиля в период его борьбы за независимость.

Я не помню, сколько времени продолжался мой возбужденный «доклад». В нем не было ничего по существу нового по сравнению с тем, что я говорил на следствии. Не было литературного оформления следствия в виде «в диком озлоблении», «в звериной ненависти к советскому строю» и т. д. В свободное изложение того, «что было», я вложил много совершенно понятной экспрессии.

Ведь это была аргументированная защита не только себя, но одновременно советской медицины, советской науки, советских евреев и вообще здравого смысла. Кажется, мне это удалось. В отрицание террора со стороны арестованных профессоров я вложил всю экспрессию слов, выражений и общего тона. Я утверждал полнейшую абсурдность этого обвинения, несмотря на то, что обвиняемые признались в нем (ведь генерал сам сказал, что «мало ли что бывает во время следствия»). Основой для категорического отрицания умышленного вреда, наносимого пациентам в процессе лечения, является мое близкое знакомство со всеми обвиняемыми (Виноградов, Вовси, Василенко, Зеленин, Этингер, братья Коганы, Грин-штейн, Преображенский и другие) на протяжении многих лет. Все они – настоящие врачи в лучшем смысле этого слова. Если можно теоретически допустить, что острое безумие могло кого-либо одного в припадке острого помешательства толкнуть на такое преступление, то мысль о групповом помешательстве на протяжении длительного времени может допустить только сам сумасшедший. Я широко использовал призыв генерала говорить все и не выбирал выражений, вернее – выбирал самые острые. К тому же и терять мне было нечего…

Выслушав все это, генерал задал мне вопрос, на который был, по-видимому, ответ у него самого: «Ну, а насчет Америки? Были ли какие-нибудь разговоры?» В его вопросе, как я понял, заключалось мое отношение к американской жизни, стремление жить там. Я вспыхнул и ответил кратко: «Я всю жизнь отдал своей стране, у меня дочери комсомолки, я сам коммунист и об Америке никогда не мечтал».

На этом наша беседа окончилась. Генерал заключил ее многозначительными словами, адресованными полковнику: «Кажется, все ясно». (Это был и вопрос и утверждение).

Генерал обратился ко мне: «Яков Львович, мы вас задержим здесь для того, чтобы вы написали все, что вы здесь говорили», и

попрощался со мной.

Когда я уходил из кабинета в сопровождении спутника-капитана и проходил мимо полковника, тот сказал, обращаясь ко мне: «Ну, вот, а еще какие-то наручники!» Это было полуизвинение за наручники, инициатором которых, по-видимому, был он. Глядя на него сверху вниз, не только потому, что он сидел в кресле, но и потому, что я хотел вложить презрение в свою реплику, я ответил: «У каждого своя техника; у меня микроскоп, у вас наручники. Только ничего при их помощи вы бы не добились». С этими словами я покинул в полном смятении чувств этот кабинет, больше чувствуя, чем сознавая, что произошло что-то очень важное, какой-то коренной перелом, что в фантасмагорию ворвался здравый смысл.

* * *

Все последующее я помню как сквозь сон, с потерей ощущения времени. Я очутился в обширном помещении без окон, странной формы неправильной трапеции, с невысокими потолками. В центре этой камеры стояла койка, стол с обычной тюремной сервировкой и стул. Впечатление было, что это – не стандартная камера, а какое-то подвальное помещение, наспех оборудованное, для приема неожиданного узника на короткое время. На столе было несколько листов писчей бумаги, перо и чернила. Однако я не был в состоянии немедленно приступить к литературному оформлению моего «доклада» генералу. Я был одновременно обессилен событиями ночи и вместе с тем взбудоражен до крайности. Стуком в дверь я вызвал надзирателя и сказал ему, что я сейчас писать не могу, что мне необходимо отдохнуть и чтобы мне разрешили поспать днем (был уже день). Надзиратель ушел и вернулся с разрешением на это. Но воспользоваться я им не смог, возбуждение пересилило усталость, и я должен был дать ему выход. Я сел за письмо, писал страницу за страницей (представляю, каково было «им» читать мои каракули, усиленные нервным возбуждением), исписал все листы, данные мне в небольшом количестве, по-видимому, без расчета на приступ графомании. Во всяком случае, я встретил удивленно-недовольную реакцию на просьбу принести еще бумаги. Здесь привыкли, по-видимому, к литературному лаконизму протоколов и приговоров. Я сейчас (да и вскоре после этих дней) не могу припомнить, чем конкретно я заполнил 18 страниц моего «репортажа». Конечно, в основном тем, что я говорил генералу. Помню также, что я уделил внимание деятельности Г. П. З. и В. А.

И., называл их черносотенцами и мерзавцами, а также принес письменное извинение Маленкову за то, что назвал его сволочью и сукиным сыном.

Я написал также об общей обстановке в режимной тюрьме, о длительном лишении сна, о наручниках с выворачиванием рук при их надевании. Писал также о выколачивании нелепых показаний и моем сопротивлении этому, о «художественном» оформлении в протоколах допроса совершенно невинных, с моей точки зрения, событий и фактов. Все написанные мною листки я отдал надзирателю, и дальнейшая их судьба мне неизвестна. Интересно было бы мне самому сейчас прочитать этот литературный полубредовый залп, направленный в основном по зданию, в котором в тот момент находился автор в качестве узника.

Я полагал, что за этим репортажем последует мое незамедлительное освобождение. Поэтому я был крайне разочарован, и даже встревожен тем, что на следующий день я был снова запакован в «черного ворона» и очутился в уже обжитой мной камере Лефортовской тюрьмы. Неужели все это было очередной инсценировкой, на которую так изобретательны были «органы»? Известно было их увлечение детской игрой в кошки и мышки с банальным финалом для мышки и с большим творческим многообразием, которое кошки вносили в эту игру. Не был ли и я только доверчивой мышкой? Но для такой мысли нужна была в данном случае только крайняя степень скептицизма, а я его лишен даже в минимальной степени. Слишком уж все это было натурально. Но все же тревога была, хотя резкое изменение климата на Лефортовском меридиане должно было снять и следы скептицизма. Прежде всего – прекратились допросы. Первые вечера я ждал их в положенные часы, но часы уходили, наступал отбой, разрешавший отход ко сну, а вызова на допрос не поступало. Я напоминал себе нервного человека, сосед которого всегда с грохотом снимал сапоги, ложась спать, а неврастеник не мог уснуть, пока сосед не снимет сапоги. Так я совсем разучился спать, имея для этого возможность. Я понимал логикой, что вызов на Лубянку имеет свое значение и должен иметь продолжение. Отсутствует какая-нибудь возможность проникнуть в механизм перелома, в его пружины и получить хоть какие-нибудь дополнительные подтверждения того, что он действительно произошел, не заглядывая вперед на его последствия. Но я по-прежнему нахожусь в режимной тюрьме в строгой изоляции от внешнего мира. Нет контакта даже с надзирателями, которые раньше заходили три раза в день снимать и надевать наручники, а иногда

и чаще, по требованию обстановки, нарушаемой узником.

Нет контакта со следователем, он исчез, общения с ним прекращены, хотя я всегда ждал их с теми эмоциями, с какими ждет неизбежной экзекуции приговоренный к ней. Как получить хоть какой-нибудь намек на происходящее, хоть какую-нибудь паутинную ниточку, из которой воображение и логика смогут соткать хоть подобие паутины? Решил пойти на хитрость. Стуком в дверь я вызвал надзирателя и сказал ему, что мне нужны очки, а разрешение на очки может дать только следователь – владыка надо мной и всем относящимся ко мне, как он сам информировал меня при первом знакомстве. Надзиратель сказал, что передаст мое требование следователю. На всякий случай, кроме необходимости в очках (это могли решить и без следователя), я потребовал от надзирателя вызова меня к следователю, так как должен сообщить ему некоторые данные. Я ожидал вызова в ближайший вечер, но он не произошел. Только на следующий день днем вошел надзиратель, сказавший, что меня вызывает следователь. Я застал его в обычном месте, сидящим в шинели за столом, следовательно, зашедшим на короткий срок, как мелькнула у меня мысль, перебирающим какие-то бумаги, часть которых он рвал в клочья и бросал в корзину. Встретил он меня со злым лицом и с подчеркнутым заявлением, что он меня не вызывал и что я сам потребовал встречи с ним, чтобы я это имел в виду. Я тут же понял, что он уже – не мой следователь, что я ему больше не нужен и что его роль как моего «куратора» прекращена. Об этом наглядно свидетельствовала и производимая им в моем присутствии очистка ящиков письменного стола от бумажных накоплений. Все это я воспринял, как чрезвычайно важное подтверждение происшедших важных событий. Далее он спросил у меня, что мне от него нужно. Не ему – от меня, а мне – от него!

Эта перемена ролей тоже была важным штрихом. Я сказал ему, что нахожусь в чрезвычайно нервном состоянии, на грани психоза, что я не понимаю, что произошло, почему прекращено следствие и чем мне это грозит. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю то, что он мне сказал; все же я не ошибался: в нем были задатки человека, к тому же неглупого и живого. Он со злостью упрекнул меня за некоторую якобы неправильность освещения одной из деталей его роли в моем «репортаже», из чего я понял, что репортаж он читал, и что ему попало от начальства за допущенные им искажения моих показаний, и что мне поверили больше, чем ему. Тоже важное дуновение освежающего ветра в Лефортово из Лубянки. Затем он, приняв свой обычный в последнее время доброжелательно-веселый тон, сказал, что меня

снова скоро вызовут на Лубянку и что все кончится очень хорошо. Большое и глубокое ему спасибо за все это!

Ведь это – почти человек! Распоряжение выдать очки он, конечно, сделал.

* * *

Я вернулся в камеру в еще большем смятении. Неужели все это реальность?

Сердце может разорваться от нетерпения в ожидании счастливого конца, от сознания того, что я уже не полуфабрикат Лубянской трупной промышленности, а могу снова стать живым человеком. Было от чего потерять сон. В мечтах о вариантах финала я меньше всего думал о возможности полной реставрации, такого еще с обитателями Лефортовской тюрьмы не было, тем более что я ведь не совсем чист по сталинским нормам: ругал Маленкова (слава богу – не Сталина – тут расстрел обеспечен), признавал наличие случаев неправильного отношения к евреям. Поэтому в оптимальных вариантах финала только выбирал место ссылки и остановился почему-то на городе Гурьеве (почему – не знаю).

Одно только помню твердо! Я знал о том шуме, который поднят во всем мире вокруг «дела врачей». И если предложат на выбор – высылку за рубеж или ссылку – у меня колебаний не было: ссылку, из которой я смогу вернуться в жизнь в своей стране, когда изменятся обстоятельства, а в том, что они должны измениться, я не сомневался. Надо только дожить до этого. Эмигрантом, да к тому же принудительным, я не хотел стать, имея в виду послереволюционных эмигрантов, их трудную жизнь. В общем – парадоксы сталинской эпохи: «преступник» в своих радужных мечтах сам себе выбирает наказание за несодеянное преступление! Все это – фантастические бредовые мечты, которые могут возникнуть только в одиночной камере!

После напряжения в словесных поединках на ночных допросах, в ожидании трагической развязки их, после волнующей ночной беседы на Лубянке, возврата в «свою» камеру, встречи со следователем с оптимистическим завершением ее – наступили прозрачные дни тюремного режима, не нарушаемого никакими эксцессами. Узник стал «вещью в себе», никому не нужной, предоставленной своему внутреннему миру. Он нарушался только несколько раз в день негрубым вторжением режима в положенные часы: подъем, утренний чай, обед, ужин, отбой. Внутренний мир длинных суток заполнялся чтением наизусть

давно прочитанных книг и стихов, а иногда – внутренними звуками музыки с безмолвным мысленным воспроизведением в музыкальной памяти всего того, что она сохранила.

Однажды я услышал незнакомый до этого стук тележки, остановившейся у двери камеры. Вот отворилось окошко, в которое обычно подавалась пища телесная, и в нем показалась рука, державшая две книги, с призывом – «возьми». Это подъехала библиотека, снабжавшая узников пищей духовной, – трогательная забота тюремщиков о моральном состоянии узников. Я с жадностью набросился на это духовное подкрепление моему внутреннему миру. Книги большей частью были интересные – классики литературы и произведения некоторых советских писателей, до того мне незнакомые. Я не мог не обратить внимания на несколько неожиданный для тюрьмы ассортимент книг и их внешнюю, издательскую сторону. Ассортимент свидетельствовал о высоком литературном вкусе, неожиданном для тюремного библиотекаря, а внешняя сторона книг была часто тоже высокой. Несколько удивляло также то, что среди просовываемых в тюремное окошечко книг не было политической литературы, которая, казалось, была бы так необходима для политического перевоспитания народонаселения Лефортовской тюрьмы. На воле такая литература, а особенно в сталинские времена, была несравненно более навязчивой и более назойливой. Нет сомнения, что если бы книги могли говорить не языком их авторов, а языком их прежнего обладателя, они могли бы много рассказать о нем и о том скорбном пути, который они проделали из его личной библиотеки до доставки в Лефортовскую тюрьму вместе с хозяином в порядке конфискации его имущества.

Таким образом в Лефортовской тюрьме я пополнял свою литературную эрудицию. Особенно запомнилась мне встреча с польской писательницей Марией Конопницкой. К стыду своему, я до того не знал эту замечательную женщину и замечательного поэта и писателя. Я буквально влюбился в нее, как в женщину с таким близким мне духовным обликом, вероятно, с внешней привлекательностью, и в ее творчество, Я выучил наизусть многие ее стихотворения, а для некоторых даже изобрел музыкальное сопровождение, как для гимна или романса (воспроизвести его вслух я бы не решился даже в одиночной камере). По выходе на «волю» одним из первых моих движений было приобретение у букиниста однотомника ее произведений, занявшего почетное место в моем книжном шкафу. Разумеется, право выбора книг в тюремной библиотеке не входило в заботу о духовной пище, она преподносилась по общему принципу: «лопай, что дают».

Однажды я сказал библиотекарю сквозь окошко, чтобы он заменил мне просунутую книгу на другую, так как эту я уже читал. Он спросил: «Где читал? Здесь?» Я ответил: «Нет, дома». «Ну, так здесь прочтешь». Для него, действительно, книга была разновидностью пищи; весьма вероятно, что пищу телесную и духовную развозил один и тот же кормилец.

* * *

Зарешеченное окно камеры под ее потолком выходило на восток. Стояли солнечные мартовские дни, и с самого раннего утра потолок камеры освещался солнечным лучом, обходившим весь его периметр, чтобы угаснуть в противоположном углу. Это был воистину луч света в темном царстве.

И так день за днем до 21 марта, когда утром снова – прогулка вниз, снова – «черный ворон» и снова – Лубянка. Опять «коридоры в коридоры», украшенные боксами, с кратковременными «отдыхами» в некоторых из них, и, наконец, я был введен в зал, где без особого порядка сидели частью за столами, частью – просто в креслах человек 10–12 в штатских одеждах. Лишь в центре всей этой группы сидел за столом полковник, грудь которого была украшена значком «Почетный чекист». Он вел все заседание, но это не было обычным заседанием, производимым по шаблонному, привычному за многие годы плану: выступления, вопросы, заключительное слово председателя и т. д. Это была свободная беседа с преступником, в которой принимали участие без какого-либо регламента все присутствующие, в том числе – и преступник.

Беседу вел полковник (кажется, фамилия его – Козлов) и давал ей общее направление. Я не помню, с чего она началась, но начало ей положил полковник. По-видимому, с обращения ко мне с «просьбой» рассказать все, что имеет отношение к моему аресту и к материалам следствия. Разумеется, в центре моего «доклада» был опять проклятый «еврейский» вопрос, поскольку я был «еврейским буржуазным националистом». Я в свободной форме рассказал о своем возмущении теми проявлениями дискриминации, свидетелем и объектом которой я был. Я рассказал об известных мне многочисленных фактах отказа способным людям в приеме на работу в научные учреждения (я только и знал непосредственно обстановку в них).

Собеседование на эту тему было оживленным, в нем приняли участие многие из присутствовавших, подававшие различного рода реплики, но когда выяснилась невозможность отрицания

или опровержения самих фактов, тогда полковник задал мне следующий вопрос общего принципиального характера: «Считаете ли вы правильным, что имеются научные институты, где 50 % сотрудников – евреи?» Я на это ответил: «Если бы, меня спросили, считаю ли я правильным, что имеются научные институты, где 50 % сотрудников бездарные идиоты, я бы ответил, что это неправильно, а я всегда прежде всего исходил в оценке качества сотрудника только с точки зрения интересов науки». Далее я сказал, что внимание к национальному составу научных работников возникло после введения высоких ставок зарплаты, до этого никто евреев не считал. Я лично избрал для себя после окончания мед. института малодоходную теоретическую специальность; моя зарплата ассистента была 27 рублей в месяц, и в то время мало интересовались моей национальностью, кроме разве традиционных антисемитов в среде старой профессуры (таковые были!).

Продолжая собеседование, я рассказал об эпизоде с изданием руководства по гистологической диагностике опухолей с изгнанием меня и профессора Шабада из авторского коллектива. С особым возмущением я говорил об издевательствах, которым подвергаются юноши и девушки на приемных экзаменах в вузы и в аспирантуру, о том, какие незаживающие душевные раны наносятся этой молодежи, идущей на экзамен с полным доверием к экзаменаторам с оскорбляющим достоинство издевательским «провалом» экзамена. Я напомнил об эпизоде на уроке географии в школе моей младшей дочери, где был глупый выпад преподавательницы в адрес моей дочери, содержащий обвинение в преклонении перед Америкой и в антипатриотизме. Все присутствовавшие на «заседании» бурно реагировали на это сообщение, убеждая меня не обращать внимания на выступление «какой-то дуры».

В общем, меня пытались убедить в необоснованности моих утверждений о наличии актов дискриминации не как о случайном явлении. Все это происходило в свободной беседе, в процессе которой меня не обвиняли, а убеждали. Меня это поразило. Ведь я не знал, в каком обществе я нахожусь, какие задачи у этого заседания, какие его конечные цели. Я по наивности полагал, что это – суд, и был приятно поражен свободной обстановкой суда, в котором подсудимый был стороной обличающей, а судьи – убеждающей и с явным стремлением не обвинить, а убедить подсудимого в его заблуждении, перестроить его отношение к дискутируемым вопросам. Так как, по-видимому, эти попытки имели мало успеха, ввиду упрямства подсудимого, а особую горячность я проявил в

рассказе о дискриминационных актах в отношении молодежи, то председательствующий полковник сделал попытку «урезонить» меня следующими словами (передаю почти дословно): «Почему вас так волнует еврейская молодежь? Образование у вас русское, родной язык русский?» Я понял, что это – доброжелательный жест для приобщения меня к общей нейтральной линии в «еврейском вопросе», приведение в «христианскую веру», что это была палочка, протянутая мне для извлечения из смрадного болота «еврейского буржуазного национализма». Но я настаивал на своем праве возмущаться несправедливыми и ранящими душу поступками в отношении еврейской молодежи. В общем, я сдержанно отнесся к протянутой палочке.

* * *

Следует сказать, что в ту пору я совершенно неясно представлял себе, что такое «еврейский буржуазный национализм», и отождествлял его с сионизмом. Лишь спустя некоторое время я узнал, что евреи в СССР не имели права открыто гордиться выдающимися представителями своего народа – учеными разных областей науки, композиторами, художниками и т. д., что это – проявления «еврейского буржуазного национализма»; что евреи не имели права гордиться активным участием представителей своего народа в революционной борьбе за коренную перестройку общественных отношений на земле, что это – «проявление еврейского буржуазного национализма»; что евреи не должны отмечать свое участие в смертельной схватке с фашизмом во время Великой Отечественной войны, гордиться своими многочисленными героями в рангах от солдата до полководца, что это – «проявление еврейского буржуазного национализма»; тем более советские евреи не могли гордиться или даже открыто выражать свое отношение к беспримерному героизму борцов с фашистами в Варшавском гетто. Даже «Дневник Анны Франк», обошедший все страны мира, в последнюю очередь и с большим опозданием был издан у нас и быстро и навсегда исчез с книжных прилавков. Иначе говоря, евреям, как особой этнической группе, отказано в том праве, которым с гордостью пользуется каждый народ на земле, в праве иметь своих героев и гордиться ими, иначе это – «еврейский буржуазный национализм».

По воспитанию, по всей обстановке своего развития я впитал могучую русскую культуру во всех ее областях – в литературе, поэзии, живописи, музыке, театральном искусстве, преклоняюсь

перед всем величием этой культуры. Она наполняла всю мою жизнь, все чувства, вся моя духовная и физическая жизнь – продукт этой культуры, и я разделяю всю законную гордость советского народа за нее. Но почему могли открыто гордиться своими выдающимися соплеменниками и героями все национальности Советского Союза, кроме евреев? Я хотел бы иметь право на это, поскольку я – еврей по происхождению, и мне об этом часто напоминают всю мою жизнь, как об унижающем факте. Я считаю справедливым, чтобы вклад евреев в общий прогресс нашей многонациональной родины, не требуя, разумеется, подчеркивания и афиширования, не замалчивался и чтобы это не считалось «еврейским буржуазным национализмом». Гордость – высшее чувство как индивидуального, так и общественно-национального достоинства. Она, конечно, не имеет ничего общего с мелким самовосхвалением, а тем более с пошлой, чванливой хвастливостью.

…Вслед за обсуждением «еврейского вопроса» последовал ко мне вопрос о Вовси, что я могу сказать о нем. В общем, я говорил все то, что говорил генералу в ночной беседе 19 марта, несколько расширив свою характеристику. Я дал М. С. Вовси заслуженную им чрезвычайно высокую оценку как ученому и специалисту-терапевту, отметив, что мы, его друзья, всегда жалели о том ущербе, который он наносит своему научному творчеству уходом по преимуществу в практическую лечебную деятельность, но что здесь он – жертва своей популярности: его как врача рвали на части. Рассказал о том потрясающем впечатлении, какое произвели на меня приписываемые ему преступления, совершенно несовместимые с его общим обликом и с той несомненной бдительностью, которая должна была быть проявлена к нему, как к генералу и начальнику терапевтической службы в Советской Армии, со стороны органов госбезопасности. Что все выдвинутые против него обвинения я считаю нелепыми, хотя знаю, что он признал их. Все это было выслушано с напряженным вниманием. Далее я сказал, что только одно обстоятельство в его поведении нас смущало, и весь зал при этом насторожился. На вопрос, какое это обстоятельство, я ответил, что мы, его друзья, и я в частности, неодобрительно отнеслись к его намерению приобрести в строящемся кооперативе «Медик» квартиру для женщины, что, по-видимому, диктовалось интимными соображениями, которые он быстро погасил. Буквально все присутствующие замахали руками с возгласами: «Нас интересует политическая деятельность Вовси, а не его семейные дела», на что я ответил, что к его политической характеристике я ничего добавить не могу. Эта информация была,

конечно, несколько наивной в общем контексте, но я хотел подчеркнуть ею, что она – единственная компрометирующая деталь в характеристике Вовси, что других я за ним не знаю.

В общем, «суд» произвел на меня впечатление исключительно благоприятное своим неожиданным контрастом со всей предшествующей информацией об обстановке и процедуре судов в этом учреждении. Я совершенно не чувствовал себя в положении подсудимого и беседовал с составом «суда» на равных. Лишь много времени спустя, когда выяснились многие обстоятельства, связанные с ликвидацией «дела врачей», я понял, что это был не суд, а правительственная комиссия по пересмотру материалов этого дела, сфабрикованного в недрах МГБ, у комиссии, несомненно, было задание ликвидировать это грязное дело. Это задание было одним из первых мероприятий нового правительства СССР, сменившего сталинский режим, первое мероприятие, в цепи последующих, для ликвидации последствий сталинского террора и восстановления нормальной жизни советских граждан. Может быть, я был до известной степени уже морально подготовлен предыдущими событиями к возможности открыто и прямолинейно излагать свою точку зрения на ряд фактов из нашей общественной и научной жизни, но этой возможностью я воспользовался с полной широтой и экспрессией в силу той общей атмосферы, какая была на «суде». К концу заседания у меня не осталось впечатления, что я ухожу обвиненным, хотя никакой резолюции или решения о результатах «собеседования» не было. Я должен был покинуть зал без какого-либо оформленного заключения или решения в отношении моей участи. Мне казалось, исходя из общего тона всего заседания, что во всяком случае она не должна быть мрачной, и это вытекало из общего, хотя и неопределенного содержания слов полковника в конце. Тем не менее я задал ему вопрос: «Вернусь ли я снова в советское общество советским гражданином?» На это он ответил: «Это будет зависеть от вас самого, от того, как вы посмотрите на все происшедшее». Ответ этот своей неожиданностью оставлял широкий простор для его конкретизации и расшифровки. Что мог бы означать его ответ?

Заключение, ссылку в концлагерь или высылку для пересмотра своих взглядов?

Мысль о полном освобождении была фантастически-невероятной для сталинских норм. Я ведь не знал, что им пришел конец. Все последующие дни я пытался разгадать, что скрывалось за словами полковника, но ответа на них пришлось ждать, запасясь терпением.

* * *

У меня были еще две мимолетные встречи с полковником. Я не помню, где они были; вероятно, в Лефортовской тюрьме, куда я вернулся после «суда». Во время одной из этих встреч полковник сказал мне, чтобы я написал о том, что я всегда был советским гражданином. Он не конкретизировал это задание, а дал его в виде общей темы, сказав, что «вы сами понимаете, что надо написать». Я понял, что этот материал необходим для реабилитации, и написал вкратце о своей научной и педагогической работе, о той радости, какую они мне доставляли, и о том, что эту счастливую возможность мне дала советская власть.

Во время второй встречи он дал мне список из нескольких человек с предложением вкратце в письменной форме отказаться от тех показаний, которые я давал о них во время следствия. В этом списке были фамилии, которые никогда не упоминались во время следствия; порочащих же показаний я, вообще, ни о ком не давал. Тем не менее спорить я не стал и выполнил это задание, так как понимал, что оно нужно для реабилитации этих лиц. И я ждал, не могу сказать, что очень терпеливо, но ничего другого не оставалось.

Снова потянулись «прозрачные» дни, заполненные чтением литературы, которой меня снабжала тюремная библиотека. Нервное напряжение в ожидании развязки не спадало ни на миг. Особенно сильно оно было по ночам с бессонницей, ставшей привычной, несмотря на возможность спать.

Однажды – это было в конце марта или в первых днях апреля – днем в камеру вошла молодая, довольно миловидная докторша в сопровождении надзирателя, о котором я упоминал, как о проявлявшем человеческое отношение в пределах его профессиональных возможностей. Он неоднократно уговаривал меня в необходимости спать, видя, что я по ночам бодрствую, не используя часы отбоя. Я подумал, что это он пригласил ко мне докторицу (она оказалась невропатологом), имея в виду мое нервное состояние, но, по-видимому, ее визит имел другой повод. Войдя в камеру, она с некоторой развязностью обратилась ко мне с вопросом: «На что мы жалуемся?» Я ей ответил: «Моя основная жалоба – вне вашей компетенции и ваших возможностей». Ничего не ответив мне и приняв официальный отчужденный вид, она приступила к элементарному неврологическому обследованию по сокращенной поликлинической программе. Подведя меня к окну и проверяя реакцию зрачков на свет, она задала вопрос: «Вы сифилисом никогда не болели?» Я ей ответил вопросом на

вопрос: «А что – реакция зрачков на свет не одинаковая, анизокория?» Она ответила утвердительно. Я ей разъяснил, что в течение более 30 лет по многу часов в день смотрел в микроскоп (по преимуществу левым глазом) и, вероятно, это, а не сифилис, которым я никогда не болел, обусловило разную реакцию зрачков. Я просил ее выписать мне бехтеревскую микстуру для сна. Спросив, помогает ли мне она, доктор обещала это сделать и свое обещание выполнила: в оставшиеся дни мне ежедневно давали по две бехтеревские таблетки.

В дальнейшем, уже после выхода из тюрьмы и ознакомления с рядом обстоятельств, я понял смысл ее визита. Конечно, это не была инициатива надзирателя. Этот визит по своей цели был аналогией медицинскому осмотру в военкомате незадолго до ареста. Цель первого освидетельствования была – определение степени моей физической годности для ареста и заключения в тюрьму. Однако целью второго визита было определение степени моей физической и психической подготовленности для возвращения из тюрьмы. Не будет ли состояние моего здоровья компрометировать обстановку, в которой я находился, тем более что в последующем правительственном сообщении говорилось о мерах воздействия на арестованных врачей, «строжайше запрещенных законом».

* * *

Наконец, наступил незабываемый вечер 3 апреля. Был предзакатный час. Я сидел у себя в камере на койке и с интересом читал какую-то книгу. Название и автора я быстро забыл. Должно быть, последующие события прочно вытеснили их. Я только помню, что я с сожалением оторвался от этой книги вследствие вторжения надзирателя в камеру. Он ворвался как метеор и с большой торопливостью и суетливостью обратился с требованием быстро собирать вещи для отбытия из тюрьмы, помогая мне в этом для ускорения этого процесса. Он принес наволочку с моими вещами, собранными при аресте, и в нее мы вдвоем стали складывать остатки съестных припасов, бывших в камере, мыло, зубную щетку. Среди съестных остатков были кусок копченой колбасы, пачка печенья, полбуханки ржаного хлеба, несколько луковиц. Все эти гастрономические излишества получены были в качестве дополнительного пайка за деньги из передвижной лавки, посещавшей камеры один раз в десять дней. Возможность и право пользоваться лавкой я получил после снятия наручников и отмены 9 марта штрафного состояния. У надзирателя не было

никакого представления о моем дальнейшем арестантском пути. Во всяком случае, он никак не предполагал, что этот путь ведет на свободу, по-видимому, в его опыте из Лефортовской тюрьмы такого пути не было. На мой вопрос – надо ли брать с собой хлеб, он ответил: «Все бери, все бери, там все пригодится».

Собрав нехитрый арестантский скарб, спустились вниз, где произошла процедура смены казенного белья на свое собственное, снятое при приеме в этот санаторий. Эффект пребывания в нем обнаружился немедленно при переодевании в собственное белье. Оно на мне висело, как на вешалке (в дальнейшем выяснилось, что в тюрьме я оставил 14 килограммов веса). Я констатировал это словами: «Оставил свой живот здесь», на что спутник-надзиратель назидательно отреагировал: «Вот, вот, на курорты не надо ездить. Хорошей жизни захотелось!» Вся подготовка к отбытию свидетельствовала о том, что я покидаю Лефортовскую тюрьму и свою «уютную» камеру безвозвратно, по крайней мере, на обозримое ближайшее время. Скептицизм, созданный неожиданными поворотами судеб человеческих в сталинское безвременье, предпочел такую осторожную, как бы страхующую от этих поворотов формулировку при неопределенности границ этой обозримости. Странное ощущение было при расставании с камерой. Было какое-то неопределенное чувство. По-видимому, оно было очень сложным, составленным из многих элементов: и из обилия тяжелых внутренних переживаний в этой камере; и из обилия своеобразных впечатлений, накопленных за время пребывания в этом «мертвом доме»; и из волнения по поводу того, что ждет меня за пределами этого дома. Но в этом сложном чувстве был еще один элемент, на первый взгляд странный: было какое-то щемящее чувство при прощании с местом, где была, несомненно, оставлена частица души и сердца.

Ведь всего, что было пережито в этой тесной камере, вместить с трудом могла бы и целая жизнь. Но здесь жизненный цикл пошел в обратном порядке: от призрака неизбежной и неминуемой насильственной смерти, от всего сумасшедшего ада, что ей предшествовал, до возврата к жизни, еще призрачного, но уже ясно забрезжившего. Со всей этой гаммой переживаний я втиснулся в вертикальный ящик «черного ворона» при свете уходящего дня. Его реальный свет, а не угадываемый из стен камеры, как бы озарял тревожную надежду, с которой я погрузился во внутреннюю тьму «черного ворона».

Вышел я из него в знакомом внутреннем дворе Лубянки, оттуда в такой же знакомый буднично-казенный вестибюль, оттуда в чулан со своим узелком.

Прошло некоторое время, сколько – я не знаю, его отсчитывало только лихорадочно бившееся сердце. Телефонный звонок в вестибюле, и я услышал свою фамилию, произнесенную дежурным. Открылась дверь чулана, и капитан с каким-то несколько сумрачным, испещренным оспенными крапинками лицом вызвал меня на допрос. При этом дежурный комендант заботливо порекомендовал мне воспользоваться внизу туалетом, так как допрос может длиться до 5 часов утра, а воспользоваться туалетом наверху будет трудно. По-видимому, только ограниченное число сотрудников Лубянки знало действительное значение моего прибытия и вызова. В сопровождении рябого капитана я был поднят в лифте на какой-то высокий этаж и был введен один (капитан остался за дверью) в просторный кабинет, где меня у входа встретил коренастый, плотный, с проседью в черных волосах генерал, поздоровавшийся со мной словами: «Здравствуйте, Яков Львович», и подавший мне руку для рукопожатия, которую я, разумеется, принял. Уже эта встреча была многообещающей. В кабинете был с правой стороны в глубине его письменный стол с креслом, перед ним – два кресла; прямо против входной двери у стены – небольшой стол, на нем графин с водой и стакан, по обеим сторонам – стулья. Генерал предложил мне сесть; на мой вопрос, где я могу сесть, он сделал широкий жест рукой, охватывающий весь кабинет, даже его кресло, перед письменным столом, с предложением выбора любого места. Я скромно сел не за его письменный стол, а на стул около столика с графином. Стоя против меня, генерал участливо спросил: «Как вы себя чувствуете, Яков Львович?» Я ответил несколько возбужденно: «Как может чувствовать себя человек в моем положении?» Генерал с сочувствующим любопытством (так мне показалось) посмотрел на меня, несколько раз прошелся по кабинету и обратился ко мне со следующими словами: «Так вот, я пригласил (!) вас сюда, чтобы сообщить вам, что следствие по вашему делу прекращено, вы полностью реабилитированы и сегодня будете освобождены». При этой информации я расплакался. Вся горечь происшедшего и неожиданность такого финала вылилась в коротких слезах, я быстро взял себя в руки, выпил полстакана воды, заботливо поданной мне генералом.

Генерал, по-видимому, чтобы рассеять обстановку, придать ей более жизнерадостный характер, сказал: «Я распорядился, чтобы вас проводили, вы скоро будете дома, но часа полтора уйдет на всякие бюрократические формальности (в его тоне просквозило какое-то, вероятно, искусственное сожаление о неизбежности этих формальностей). Перед отъездом позвоните внизу по телефону домой, предупредите, чтобы вас ждали». Все

еще не веря и желая убедиться, нет ли здесь какой-либо ошибки или игры (я все еще опасался ее), и выяснить еще раз отношение к «еврейским делам», я сказал: «Но ведь были какие-то еврейские дела?», на что генерал сделал пренебрежительный жест, мол, все это ерунда. Я спросил у него о том, как я должен держать себя на свободе, имея в виду и возможную сдержанность в информации о событиях в период моего ареста, на что генерал ответил: «Вы должны держать себя как человек, подвергшийся незаконному и необоснованному аресту». С этими словами он попрощался со мной, с какими-то пожеланиями, содержание которых выпало из памяти. С таким напутствием я вышел из кабинета и отправился по бесконечным коридорам в сопровождении того же капитана. Вероятно, я что-то бормотал и, должно быть, у меня было соответствующее выражение лица, так как даже на каменно-угрюмом лице капитана проскользнула улыбка.

* * *

«Бюрократические формальности» привели меня опять в бокс-чулан в каком-то верхнем этаже, где в состоянии блаженной растерянности я стал ждать их конца, не понимая и не зная, в чем они состоят. «Я с корнем бы выгрыз бюрократизм» и, сидя в чулане, не пожалел бы для этого зубов. Время тянулось медленно. Я слышал за дверьми чулана какую-то суету и человеческую возню, до меня доносились какие-то голоса, а я все ждал, когда же распахнется дверь чулана. Наконец, она раскрылась, и в сопровождении какого-то чина меня ввели в обширный кабинет, показавшийся мне по величине залом, где за скученными без порядка канцелярскими столами сидело много военных, показавшихся мне молодыми полковниками. Один из них, под любопытные взоры остальных, как будто присутствующих при интересном зрелище, вручил мне отпечатанную на машинке справку со штампом Министерства внутренних дел СССР, датированную 3 апреля 1953 года. Привожу содержание справки полностью, поскольку она была первой ласточкой в последующей многомиллионной серии подобных справок. Но в отличие от моей справки, отпечатанной на машинке, что подчеркивало ее индивидуальность, последующие имели уже стандартную типографскую внешность.

В моей справке значилось:

«СПРАВКА

Выдана гражданину Рапопорту Якову Львовичу, 1898 г. рождения, в том, что он с 3 февраля 1953 года по 3 апреля 1953 года находился под следствием в бывшем Министерстве госбезопасности СССР.

В соответствии со статьей п. 5 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР следствие по делу Рапопорта Я. Л. прекращено.

Рапопорт Я. Л. из-под стражи освобожден с полной реабилитацией.

Начальник отдела МВД СССР А. Кузнецов».

Как прожектором озарило: «В бывшем Министерстве госбезопасности…» – значит, МГБ ликвидировано, значит, произошли какие-то огромные перемены за время моего пребывания в тюрьме, имеющие прямым следствием неожиданный радикальный переворот в моей судьбе. Я понял это мгновенно, но смысл, существо и причины этих перемен оставались для меня, разумеется, загадкой.

После того как я прочел справку, мне вручили все изъятые у меня при обыске документы: паспорт, диплом доктора наук, аттестат профессора, орденскую книжку и партийный билет. Последний был для меня более значительным символом освобождения, чем справка: он символизировал реабилитацию не только в криминальном плане, но и в общественно-политическом, партийном. Я понял, что восстановлен в партии.

Со всеми этими документами, уже реальными признаками освобождения, меня снова отправили в тот же бокс. Бюрократическая машина еще продолжала действовать. Несмотря на всю убедительность происходящих событий, их документальное подтверждение, надо мной висел плотно вколоченный годами страх: а вдруг в последний момент все перерешат, чья-то могучая рука повернет колесо обратно, все документы проделают обратный путь, и я вместе с ними. Таково было доверие к стенам, в которых я находился. Дважды открывалась дверь в мой чулан, из которого я был готов выпрыгнуть, и дважды возвращалась в замкнутое на замок состояние. Один раз принесли узелок с моими вещами, оставленными внизу в боксе. Второй раз тревожно осведомились, был ли в этом узелке футляр для очков, т. к. его не могут обнаружить.

Кажется, действительно, был копеечный картонный истрепанный футляр, который могли выбросить при осмотре вещей в узелке, как бумажную рвань, чтобы не осложнять ситуацию (а вдруг задержат, пока не найдется футляр!) и не

злоупотреблять заботливым вниманием к моему барахлу, сказал, что футляра, кажется, не было. Но интересен самый факт внимания к такой мелочи: порядок в этом доме был, мелочей здесь не было, а блюстителей порядка было более чем достаточное количество!

Терпение мое истощалось по мере нарастания напряжения. Поскорее бы вырваться отсюда, пока колесо не завертелось в обратную сторону. Набравшись храбрости, подогретой обещанием генерала, что на бюрократические формальности уйдет часа полтора, а ушло уже гораздо больше, я стал колотить кулаками в дверь. На какой-то из моих стуков дверь открылась, и какой-то чин с торопливостью стал призывать меня к терпению: «Скоро, скоро!» Я стал урезонивать его возможностью инфаркта от напряженности ожидания свободы, в ответ получив: «Потерпите, скоро, скоро». Судя по его озабоченности и торопливости, он был очень занят, да я сквозь дверь ощущал все время суету перегруженных поручениями людей. На один из моих настойчивых стуков (кажется, с помощью ног) открывший дверь военный сказал мне, что они хотят вернуть мне забранные при обыске ценности, чтобы мне не надо было приезжать за ними, и что на это уйдет некоторое время. Я не понимал, о каких ценностях идет речь, дома у меня никаких ценностей не было, но должен был удовлетвориться логикой такой мотивировки. Действительно, спустя некоторое время дверь раскрылась, и меня повели в комнату, где сидел военный в чине интендантского полковника, вернувший мне пакет с облигациями займов и ордена, изъятые при обыске. Это и были ценности, из-за которых меня задерживали. Из возвращенных мне орденов я тут же прикрепил к пиджаку орден Ленина. Мне казалось, что, увидев его на мне, жена сразу поверит в мою свободу, как наглядный ее символ, прежде чем прочтет реабилитационную справку. Так, украшенный орденом Ленина, с остальными орденами в кармане, я снова отправился в бокс. Вероятно, за все время существования этого бокса он впервые принимал узника, на груди которого красовался орден Ленина (ордена обычно немедленно изымаются при аресте). Это тоже символ глубоких перемен в советском климате.

* * *

Наконец (это было, вероятно, около двух часов ночи), дверь бокса открылась, в дверях стоял пожилой полковник, который, поздоровавшись со мной, сказал, что ему поручено проводить

меня домой. Позади него стоял молодой человек в стандартной штатской одежде сотрудника МГБ того времени (синее пальто с серым каракулевым воротником, такого же меха шапка-ушанка).

Я покинул бокс, попытавшись взять свой узелок, но полковник обратился к молодому человеку с распоряжением: «Возьмите узелок», которое тот с поспешной готовностью выполнил. Так мы и отправились втроем: впереди – полковник с какой-то бумагой в руке, на которой я заметил наклеенные мои фотографии анфас и в профиль, сделанные в тюрьме, в центре – я, позади – молодой сотрудник с моим узелком в руке. На каждом этаже полковник показывал дежурному стражу эту бумагу, по-видимому, пропуск на безвозвратный выход.

Разрешение позвонить по телефону домой снизу я не получил. Во дворе Лубянки, мне уже хорошо знакомом, нас ждала серая «Победа», в которую мы втроем сели: я с полковником сзади, молодой спутник с узелком – на переднем сиденье рядом с водителем; ворота Лубянки распахнулись, и колеса «Победы» завертелись по обратному маршруту, символизируя поворот истории «дела врачей».

Очень трудно передать ощущения во время этой сказочной поездки по ночной Москве из потустороннего мира, из мира, полного мрачных тайн, окруженного в течение десятилетий страшными легендами, погружение в который было безвозвратным, как в океанскую пучину. Казалось, что выход из него должен вызвать сильнейший эмоциональный взрыв, но его не произошло. Было только тихое наслаждение полупустынными в ночную пору освещенными улицами Москвы, знакомыми зданиями, световыми рекламами улицы Горького, как встреча со старыми, близкими друзьями. Была радость, что они – на своем обычном месте и что я могу безошибочно предвидеть встречу с площадью перед Моссоветом, с магазином Елисеева, памятником Пушкину и т. д. Эти встречи были как бы утверждением незыблемости вечной обычной жизни, за пределами которой осталась фантасмагория. Где-то в подсознании бьется мысль (скорее – ощущение), что меня не везут, а я еду, и при желании могу остановить машину и выйти из нее. Это был выход из тяжелого сновидения в реальный, привычный мир, развертывающийся передо мной по пути от Лубянки к Новопесчаной улице через улицу Горького и Ленинградский проспект.

Так как я уже не сомневался в том, что этот путь ведет ко мне домой, то я хотел возможно дольше насладиться им и был рад, что машина шла относительно медленно, как будто водитель угадывал мои желания.

Я всегда любил ночную Москву с ее тихими улицами, редкими прохожими, и встреча с ней после Лефортовской тюрьмы и Лубянки без всяких подготовительных переходов и промежуточных стадий имела особую мифическую окраску. Я почему-то вспомнил совет Блока. Я часто «про себя» цитировал заключительную часть поэмы Блока «Возмездие», полную глубокого смысла, цитировал ее и во время этого возвращения домой, и хочется привести небольшой отрывок.

…Когда по городской пустыне,
Отчаявшийся и больной,
Ты возвращаешься домой
…Тогда остановись на миг
Послушать тишину ночную:
Постигнешь слухом жизнь иную,
Которой днем ты не постиг…
Ты все благословишь тогда,
Поняв, что жизнь – безмерно боле,
Чем quantum satis Бранда воли
А мир прекрасен, как всегда.

Странной может показаться психологическая быстрота перехода в мир реальный из мира лубянских мистерий. Они почти мгновенно растаяли по мере утверждения в сознании что мир реальный существует. Такова потрясающая сила способности переключения человеческого сознания с одного уровня на другой.

Формальная память сохранила если не все, то многое из событий прошедших месяцев, но из сферы эмоциональной они были быстро вытеснены другими впечатлениями. Без этой способности переключения жизнь была бы, вероятно, невозможна вообще. Это одно из проявлений великой общей закономерности аккомодации как важнейшего фактора жизнеспособности. Груз отрицательных эмоций невозможно нести долго.

Но я ехал не один, у меня было два сопровождающих спутника, как показатель особого внимания к невинно пострадавшему профессору. Один из них – немолодой полковник, сидевший рядом со мной на заднем сиденье. Он хватался за сердце и жаловался на боли. Я сочувственно подавал ему медицинские советы. У него был с собой валидол. Почему-то общим обликом он напомнил мне полковника, который вез меня из дома на Лубянку в памятную ночь 3 февраля. Другой, на переднем сиденье рядом с водителем и с моим узелком на руках, показался мне знакомым. В его скрыто озлобленном с натянутой улыбкой лице я заподозрил «оперативника», встретившего меня и

жену у входа в переднюю по нашем приходе домой в ночь моего ареста и с профессиональной ловкостью обыскавшего мои карманы. Во вторгшейся в мою квартиру для ареста большой группы, он, по-видимому, играл специальную роль. На мой вопрос, он подтвердил, что я не ошибся, что это именно был он. Я у него спросил, не обижал ли он мою жену, на что он ответил категорическим отрицанием. Жена же мне потом сказала, что именно он был самой злой собакой, пыл которой даже пытались смягчить остальные его товарищи по оперативной группе. Я понял после этой информации, почему у него была такая недовольная морда со смесью смущения и скрытой злости, когда он сопровождал меня домой с моим узелком в руках. Можно было ему посочувствовать! Такие контрасты и переходы в деятельности ретивого жандарма тоже требуют адаптации, а положительных эмоций эта прогулка со мной у него, конечно, не вызывала.

* * *

Машина медленно свернула на Новопесчаную улицу, въехала через железные раскрытые ворота в знакомый двор и остановилась у знакомого крыльца. Мы втроем вышли из машины, двери подъезда не были заперты, было около трех часов ночи, но ночных лифтеров у нас не было. И мы вошли в вестибюль, где был телефон. Первый сигнал из моей квартиры на четвертом этаже подала моя собака, черный пудель – Топси. Это была необыкновенно ласковая, умная и эмоциональная сука. При каждом моем возвращении домой она встречала меня в передней, и я бывал жертвой ее бурного восторга и бурных ласк, сопровождавшихся как радостными визгами и стонами от прилива чувств, так и эмоциональной лужей на полу. Едва я вошел в подъезд и даже не успел подняться на первый этаж, как я услышал восторженный лай Топси, разбудивший мою жену. Я позвонил ей по телефону из подъезда, чтобы предупредить о моем возвращении с полной реабилитацией и чтобы она не была напугана моим неожиданным появлением в сопровождении двух военных – сотрудников МГБ. Но ее разбудил не телефонный звонок (телефон после ареста был вынесен из комнат в переднюю), а лай Топси: она первая оповестила мир о конце «дела врачей».

Медленно поднялись по лестнице на четвертый этаж, – я щадил сердце полковника. Я распахнул пальто, чтобы жена увидела у меня на груди орден Ленина как символ моего восстановления, и это, действительно, ей бросилось в глаза, когда

она открыла нам дверь. Но поздороваться с ней и обнять ее я смог только после того, как вырвался из объятий Топси и ее лобзаний и перешагнул через ее традиционную восторженную лужу. Вместе со мной вошли мои спутники, но лейтенант куда-то быстро исчез. Трудно вспомнить, какими словами мы обменивались с женой в присутствии полковника, несколько смущенного своим присутствием при событии, в котором он участвовал, несомненно, первый раз в своей многолетней деятельности. Он попросил разрешения позвонить по телефону (аппарат был внесен в комнату), и я был свидетелем его разговора: «Товарищ генерал, докладываю из квартиры Якова Львовича». По-видимому, отвечая на вопрос генерала, он сказал: «И слезы, и радость». Затем, обращаясь к нам обоим, передал привет от генерала (кто он, я не знал и не знаю до сих пор) и его пожелания и совет, чтобы была только радость без слез. Трогательно!

Жена задала мне вопрос: «Знаю ли я, что умер Иосиф Виссарионович?» Ее вопрос как молнией осветил весь, непонятный мне до того, механизм резкой перемены в моей и, я был уверен, в общей судьбе арестованных по «делу врачей». Мне сразу стало ясно, почему Министерство государственной безопасности стало «бывшим», как это было написано в справке об освобождении, и что это – не единственная перемена в советском строе, а наступление новой эпохи в нем, действительно исторически измененном смертью только одного человека. Я воспринял неожиданное известие о его смерти лишь с некоторым удивлением. Мне казалось закономерным это явление в общей цепи событий, совершенно логичным внутренней связью с ними, своевременностью и единственным условием развития этих событий. Мелькнула мысль о роке, в нужный и крайний момент обрушившем свой удар во спасение моей жизни. Где же был этот рок раньше?! Миллионы людей не дождались его!

На осторожный вопрос жены, не знаю ли я, что с Мироном Семеновичем (Вовси), я с полной уверенностью ответил ей, что освобождены все. Уверенность эту мне давал весь процесс реставрации, в котором, как показала вся обстановка и все содержание этого процесса, я был не единственным его объектом. Кроме того, когда я сидел взаперти в боксе, ожидая выхода на свободу и слыша непрерывную суету за дверью, мне показалось, что я услышал шепотом произнесенную фамилию: «Вовси». Мне тогда представилось, что он в этот момент проходил по коридору мимо моего бокса и кто-то шепотом кому-то указал на него, как на главного героя «дела», имя которого было «притчей во языцех», как величайшего злодея в истории человечества, которого четвертовать мало.

Нас сковывало присутствие полковника, хотя и державшегося крайне скромно и, несомненно, чувствовавшего себя лишним свидетелем семейной радости. Но он ждал возвращения исчезнувшего лейтенанта, который вскоре явился вместе с управдомом, чтобы в его присутствии снять печати с опечатанных после моего ареста двух комнат и ввести меня во владение ими вместе с находящимися в них вещами. Это тоже было проявлением предупредительности, указания о которой, несомненно, полковник и лейтенант получили. С этой процедурой в тех редчайших в истории МГБ случаях, когда необходимость в ней возникала, не торопились. В данном случае, несомненно, было стремление возможно скорее ликвидировать все последствия ареста и все, что было с ним связано, включая и возврат изъятых «ценностей» еще до выхода «на волю».

Управдом, пожилой человек, рассказал мне после, что когда ночью его разбудил лейтенант, ему уже знакомый по моему аресту, и пригласил его в квартиру № 103, то он решил, что пришли за моей женой. От волнения он никак не мог попасть ногой в штанину, но когда лейтенант без всякого вопроса сказал: «Возвращаем вам» (в его тоне радости не было!), то управдом на это ответил: «Тогда бежим». И они побежали. Печати были сняты, я вошел в распечатанные комнаты, в которых в полной неприглядности сохранился хаос произведенного обыска. Когда процедура восстановления интеграции квартиры была закончена, полковник с высшей степенью любезности попрощался со мной и женой, сопроводив прощание самыми трогательными пожеланиями.

Наконец, мы остались одни, и я почувствовал, что я – дома. Я могу ходить из комнаты в комнату, зайти в ванную без всякой надобности, в кухню. Я только с этого момента со всей полнотой почувствовал, что я – свободен.

Жена уговаривала меня лечь спать, но я не мог для сна пожертвовать невыразимым ощущением свободы, возвратом в привычную обстановку, встречей с привычными вещами. Возбуждение от всех этих переживаний было таким, что о сне не могло быть и речи, он казался насилием над свободой. Я отправился в ванную побриться не только из косметической необходимости, но для ощущения счастья пользования своей бритвой, своим зеркалом, своим полотенцем. Это тоже были символы свободы. Я передал по телефону телеграмму-молнию (такие телеграммы доставлялись в течение часа) своей старшей дочери в Торопец (Великолукской области), где она работала после окончания медицинского института. В телеграмме я сообщал, что вернулся из командировки. Но эту молнию она

получила только спустя двенадцать часов. Молния ударила с большой задержкой. Дочь, узнав из сообщений радио и сослуживцев об освобождении врачей, сама позвонила по телефону домой, чтобы проверить это сообщение.

Задержка «молнии» была показателем растерянности властей на местах, которую вызвало у них неожиданное сообщение о ликвидации «дела врачей», и которые не знали, как им поступить: передать телеграмму, смысл которой был ясен, или не передать, пока не будут получены бесспорные подтверждения освобождения врачей, еще вчера бывших извергами рода человеческого.

* * *

Наступило незабываемое утро четвертого апреля. В шесть часов утра, в часы обычной утренней передачи последних известий, радио передало полный текст правительственного сообщения о ликвидации «дела врачей». Оно заслуживает того, чтобы быть приведенным полностью, вместе с официальными комментариями к нему.

Сообщение Министерства внутренних дел СССР (4 апреля 1953 г.) «Министерство внутренних дел СССР произвело тщательную проверку всех материалов предварительного следствия и других данных по делу группы врачей, обвинявшихся во вредительстве, шпионаже и других действиях в отношении активных деятелей Советского государства. В результате проверки установлено, что привлеченные по этому делу профессор Вовси М. С., профессор Виноградов В. Н., профессор Коган М. Б., профессор Коган Б. Б., профессор Егоров П. И., профессор Фельдман А.И., профессор Этингер Я. Г., профессор Василенко В. Х., профессор Гринштейн А. М., профессор Зеленин В. Ф., профессор Преображенский Б. С., профессор Попова Н. А., профессор Закусов В. В., профессор Шершевский Н. А, врач Майоров Г. И. были арестованы бывшим Министерством государственной безопасности СССР неоправданно без каких-либо законных оснований.

Проверка показала, что обвинения, выдвинутые против перечисленных лиц, являются ложными, а документальные данные, на которые опирались работники следствия, несостоятельными. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего Министерства государственной безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами

приемов следствия.

На основании заключения следственной комиссии, специально выдвинутой Министерством внутренних дел СССР для проверки этого дела, арестованные Вовси М. С., Виноградов В. Н., Коган Б. Б., Егоров П. И., Фельдман А. И., Василенко В. Х., Гринштейн А. М., Зеленин В. Ф., Преображенский Б. С., Попова Н. А., Закусов В. В., Шершевский Н. А., Майоров Г. И. и другие, привлеченные по этому делу, полностью реабилитированы в предъявленных им обвинениях во вредительской, террористической и шпионской деятельности и в соответствии со ст. 4, п. 5 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР из-под стражи освобождены.

Лица, виновные в неправильном ведении следствия, арестованы и привлечены к уголовной ответственности».

Под этим историческим сообщением помещены в «Правде» три небольших заметки под тривиальными заголовками: «Весна в мичуринских садах», «Путешествия по родной земле», «Рабочие повышают свой общеобразовательный уровень», под этими заметками, в самом низу страницы, как бы отделяющими сообщение МВД, было обычным шрифтом опубликовано следующее сообщение под заголовком «В Президиуме Верховного Совета»: «Президиум Верховного Совета СССР постановил отменить указ от 20 января 1953 г. о награждении орденом Ленина врача Тимошук Л. Ф., как неправильном в связи с выявившимися в настоящее время действительными обстоятельствами».

Таким образом, Л. Тимошук была разжалована из великой дочери русского народа и новоявленной Жанны Д'Арк в вульгарные советские «сексоты».

Распределение обоих сообщений на газетной полосе: одно – вверху, другое – внизу, было несомненно продуманным, поскольку такое распределение было и в «Правде», и в «Известиях». Отличалось оно в этих двух официальных органах только содержанием отделяющих заметок и соответственно их заголовками. Разделение двух исторических сообщений на газетных полосах разных газет обычными будничными материалами, разумеется, было продуманным, имело, конечно, определенный смысл. Он, вероятно, заключался в том, чтобы лишить оба сообщения сенсационности, придать им будничный характер текущих мероприятий нового правительства. Это особенно подчеркивается при сопоставлении двух указов: текста указа о награждении Тимошук орденом Ленина на первой полосе и крупным шрифтом с будничным видом указа о лишении ордена.

Однако эти тенденции не могли замаскировать выдающегося значения обоих сообщений, не имеющих прецедента ни в предшествующей, ни в последующей истории Советского государства. Особенно это относится ко второму сообщению.

Его историческое значение и всеобъемлющий смысл трудно переоценить. Дело не только в том, что оно извещало об освобождении людей, признавших себя по ходу следствия в МГБ виновными в совершении тягчайших преступлений и признанных невиновными, несмотря на это. Дело не только в том, что был снят кровавый навет с большой группы людей, и они буквально были вырваны из лап позорной смерти. Это сообщение было суровым приговором всему тридцатилетнему сталинскому режиму. Оно как лучом мощного прожектора осветило самые мрачные его стороны, весь его чудовищный произвол, всю механику многочисленных «заговоров», раскрытых «бдительностью» органов безопасности и завершившихся гибелью колоссального числа лучших представителей партии и советского народа, врагами которого они были объявлены, и обездоленностью еще большего числа соприкосновенных людей. Этот исторический акт свидетельствовал о приговоре сталинскому режиму, о начале радикальной перестройки внутри советского общества, начатой тотчас после смерти Сталина.

* * *

Исключительный интерес представляют комментарии газеты «Правда» к сообщению МВД 4 апреля, содержащиеся в редакционной статье 6 апреля и перепечатанные без измененТ 7 апреля в «Известиях» и других газетах. Эти комментарии напечатаны под заголовком: «Советская социалистическая законность неприкосновенна». После повторения почти полным текстом сообщения МВД об освобождении арестованных врачей и ликвидации всего дела по их обвинению статья ставит вопрос: «Как могло случиться, что в недрах Министерства государственной безопасности СССР, призванного стоять на страже интересов Советского государства, было сфабриковано провокационное дело, жертвой которого явились честные советские люди, выдающиеся деятели советской науки?» Статья дает на это развернутый ответ, сводящийся к следующим положениям, излагаемым здесь почти текстуально.

1. Не на высоте оказались руководители МГБ, которые оторвались от народа, забыли, что они служат ему.

2. Бывший министр МГБ Игнатьев проявил политическую

слепоту и ротозейство, оказался на поводу у таких преступных авантюристов, как бывший зам. министра и начальник следственной части, непосредственно руководивший следствием, Рюмин, ныне арестованный. Рюмин поступал как скрытый враг государства и народа. Вместо того чтобы работать по разоблачению действительных шпионов и диверсантов, он встал на путь обмана и авантюризма, надругался над законами и Конституцией.

3. Не на высоте оказалась и созданная в связи с обвинением группы врачей медицинско-экспертная комиссия, которая дала неправильное заключение по методам лечения, примененным в свое время к А. С. Щербакову и А. А. Жданову. Вместо того чтобы с научной добросовестностью и объективностью проанализировать истории болезни и другие материалы, эта комиссия поддалась влиянию сфабрикованных следствием материалов и своим авторитетом поддержала клеветнические, фальсифицированные обвинения против ряда видных деятелей науки. Статья пытается хоть несколько сгладить этот тяжелейший упрек в адрес экспертной комиссии замечанием, что следствие утаило от нее некоторые существенные стороны лечебной процедуры, доказывающие правильность проведенного лечения.

Далее статья клеймит презренных авантюристов типа Рюмина, пытавшихся разжечь в советском обществе глубоко чуждые ему чувства национальной вражды (т. е. антисемитизма. – *Я. Р.*), не останавливаясь перед клеветой, в частности на честного общественного деятеля, народного артиста СССР Михоэлса, и призывает к неуклонному соблюдению законности и Конституции СССР. Трудно переоценить высшую степень гражданственности и мужества, проявленных новым правительством немедленно после смены сталинского руководства страной. Особенно надо учесть весь общественный климат в течение подготовки к «делу врачей» и в период его развития, а также полную подготовленность народа к разрешению «дела» в прямо противоположном направлении. Надо было осветить народу, как возникло это «дело» и кто непосредственно виновник его.

Объяснение происхождения «дела» под углом зрения злой воли авантюриста Рюмина, разгильдяйства министра госбезопасности Игнатьева и плохой работы медицинской экспертной комиссии может показаться лишенным должной глубины.

Но объяснение надо было дать безотлагательно, не дожидаясь более глубокого анализа в историческом плане, как порождение режима произвола и беззакония сталинской эпохи.

Открытое признание этого было дано на XX съезде КПСС и

путем освобождения из мест заключения огромного числа заключенных и массовой реабилитацией невинно осужденных, в значительной части – посмертной. особое значение для основного содержания книги имеет суровая и справедливая оценка деятельности медицинской экспертной комиссии, которая дана в редакционных комментариях газет «Правда» и «Известия». Холуйская угодливость экспертной комиссии, состоявшей из оставшихся на свободе медицинских специалистов в ранге профессоров, – комиссии, которые принесли в жертву этой угодливости высокие традиции медицины, создаваемые на протяжении веков, начиная с Гиппократа, комиссии, готовой принести в жертву этой угодливости позор и жизнь десятков своих коллег, вызывает чувство глубокого омерзения. Чем эти специалисты лучше Рюмина и ему подобных? Тот профессиональный мерзавец, служебная карьера которого зависела от числа уничтоженных им людей. А эти представители самой гуманной профессии – медицины, что ими руководило? Их действия – ярчайший показатель глубины падения всех форм морали, глубины разложения советского общества, проституирования которого сталинским режимом не избежала и медицина. Чувство омерзения не снимается, а усиливается той легкостью, с которой эти жрецы медицины отказались от своих обвиняющих заключений, когда новое правительство указало на ложность их. Могут ли они претендовать на доверие к их медицинской компетенции и объективности в дальнейшем?

Не имеющее прецедента изъятие ордена у недавно награжденного им с опубликованием в печати самого факта и его мотивировки породило различные слухи и версии о последующей судьбе Тимошук. Наиболее распространенной была версия о ее гибели вследствие наезда автомобиля вскоре после этого события, бытующая до настоящего времени. Сюжетом для такой версии служили, вероятно, слухи об участии МГБ в подобной гибели ряда людей, в частности – Михоэлса.

Ничего подобного с Тимошук не произошло. Спустя короткое время после апрельских событий она приступила к своей обычной работе в той же кремлевской больнице, где она сыграла такую оглушающую роль. Она явилась на работу с полным внешним безразличием к этим событиям, как будто они к ней не имеют никакого касательства и как будто их не существовало. Вероятно, такое поведение было внушено ей и ее служебному окружению. Некоторое время спустя при очередном награждении орденами и медалями медицинских работников за длительную и непорочную службу она была награждена орденом Трудового Красного Знамени, вторым по значению после ордена Ленина гражданским

орденом. По-видимому, ее биография не считалась опороченной короткой, но не удавшейся ролью Жанны Д'Арк. Эта роль была расценена, вероятно, как проявление бдительности и патриотического рвения, которое всегда заслуживало и продолжает заслуживать поощрения, а ошибки при этом у кого не бывают!

Заключение

Прошли недели и месяцы жизни советского общества без сталинской тирании. Идеи «оттепели» постепенно входили в сознание и быт советских людей. Расстрелян Рюмин – организатор «дела врачей». О его расстреле я впервые услышал в электричке от девочки лет 11–12, сидевшей на скамейке против меня с матерью, они ехали утром одновременно со мной в Москву с дачи.

Девочка держала в руках свежую газету и, читая ее, сказала, обращаясь к матери: «Расстреляли того, кто мучил врачей». Сообщение гласило:

«В ВЕРХОВНОМ СУДЕ СССР

2-7 июля 1954 года военная коллегия Верховного суда СССР рассмотрела в судебном заседании дело по обвинению Рюмина М. Д. в преступлении, предусмотренном статьей 58-7 Уголовного кодекса РСФСР.

Судебным следствием установлено, что Рюмин в период его работы в должности старшего следователя, а затем и начальника следственной части по особо важным делам бывшего Министерства государственной безопасности СССР, действуя, как скрытый враг Советского государства, в карьеристских и авантюристических целях стал на путь фальсификации следственных материалов, на основании которых были созданы провокационные дела и произведены необоснованные аресты ряда советских граждан, в том числе видных деятелей медицины.

Как показали в суде свидетели, Рюмин, применяя запрещенные советским законом приемы следствия, принуждал арестованных оговаривать себя и других лиц в совершении тягчайших государственных преступлений – измене Родине, вредительстве, шпионаже и др.

Последующим расследованием установлено, что эти обвинения не имели под собой никакой почвы, и привлеченные по этим делам лица полностью реабилитированы.

Учитывая особую опасность вредительской деятельности Рюмина и тяжесть последствий совершенных им преступлений, военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Рюмина к высшей мере наказания – расстрелу.

Приговор приведен в исполнение».

Расстрел Рюмина был не изолированным актом уничтожения

мерзавца, служебный путь которого, усеянный трупами ни в чем неповинных людей, закончился на «деле врачей». Он был далеко не единичным мерзавцем еще большего, чем он, значения и масштаба, но лишь некоторые из них дождались своей карающей пули (Берия и его соратники). Сообщение о расстреле Рюмина показало, что ликвидация «дела врачей» – не вынужденный для наружного употребления эпизод, а начало серьезной перестройки всей общественной системы, всей организации советского общества и взаимоотношений между отдельными его звеньями, начало новой эпохи в жизни советского народа.

Сталинское правление было совершенным образцом тирании, а сам его вершитель – тираном в самой совершенной форме. Как и всякий тиран, он не был свободен от многих человеческих слабостей. Психологический портрет его представляется чрезвычайно сложным и далеко еще не законченным. Хотя к нему приложены кисти многих литературных художников, но раскрытие его образа художественными методами полно противоречий. Автор, не будучи литературным художником, а только «летописцем», к тому же ограниченным материалами личного опыта, даже не пытается внести свой мазок в психологический портрет этого тирана. Однако ему представляется, что этот портрет более прост, более схематичен, чем это может казаться. Основные его черты: ханжеское лицемерие и вероломство в сочетании с хитростью зверя, вводившее в заблуждение и «стреляных воробьев»; безграничная жестокость ненасытного, кровожадного людоеда; подозрительность параноика и физическая трусость, как непременные черты любого тирана. Все эти черты создали в своей совокупности образ из области криминологической психопатологии. Но, «если это и безумие, то в нем есть последовательность», как сказал Полоний. Искать логику ряда поступков Сталина, всей эпохи его власти и ее отдельных эпизодов – занятие неблагодарное. Анализ этих поступков совершенно безнадежен, если пользоваться критериями, обычными при анализе поступков первобытного homo sapiens неандертальского периода.

* * *

«Дело врачей» было кульминацией, логичным завершением алогичной сталинской системы. Понять целевой смысл этого «дела», с точки зрения здравого человеческого разума, невозможно. Возможна лишь характеристика ряда

последовательных фактов, завершившихся организацией «дела». Надо признать поверхностность этих фактов для исследования глубинных механизмов этого «дела». Из них известны немногие, но за достоверность и этих фактов поручиться нельзя. Некоторые из них сообщены Н. С. Хрущевым на XX съезде КПСС, некоторые из полуофициальных источников, и сопоставление их рисует следующую картину в ее развитии.

Личным врачом Сталина был профессор В. Н. Виноградов, отличный клиницист с большим опытом. Сталин страдал в последние годы гипертонической болезнью и мозговым артериосклерозом. У него возникали периодические расстройства мозгового кровообращения, следствием которых явились обнаруженные при патологоанатомическом вскрытии (умер он от обширного кровоизлияния в мозг) множественные мелкие полости (кисты) в ткани мозга, особенно в лобных долях, образовавшиеся после мелких очагов размягчения ткани мозга в результате гипертонии и артериосклероза. Эти изменения (особенно локализация их в лобных долях мозга, ответственных за сложные формы поведения человека) и вызванные ими нарушения в психической сфере наслоились на конституциональный, свойственный Сталину, деспотический фон, усилили его. «Портящийся характер», замечаемый членами семьи и близкими и доставляющий им много неприятностей, нередко является первым проявлением начинающегося артериосклероза мозга. Можно представить, какие дополнения внес этот склероз в естественную натуру деспота и тирана.

В свой последний врачебный визит к Сталину в начале 1952 года В. Н. Виноградов обнаружил у него резкое ухудшение в состоянии здоровья и сделал запись в истории болезни о необходимости для него строгого медицинского режима с полным уходом от всякой деятельности. Когда Берия сообщил ему о заключении профессора В. Н. Виноградова, Сталин пришел в бешеную ярость. Как осмелился этот ученый-наглец отказать ему в его безграничном земном могуществе!

– «В кандалы его, в кандалы», – заорал он, как это рассказал Н. С. Хрущев на XX съезде КПСС.

Однако масштабы злобной мстительности Сталина не могли удовлетвориться одним Виноградовым. «Гениальный вождь мирового пролетариата» мыслил и действовал большими категориями, когда речь шла о человеческих судьбах. Его криминологические представления были элементарно стереотипными: заговоры с большим или меньшим числом участников. Варьировали лишь содержание заговоров, их целевую направленность, злодейские методы заговорщиков. При этом он,

конечно, забывал, что одним из авторов этих заговоров нередко был он сам, и лишь оформление их, часто театрализованное, осуществлялось специализированным аппаратом МГБ и советской Фемиды с ее выдающимися жрецами – Вышинским, Крыленко, Ульрихом и др. Сталин, вероятно, выключал из своего сознания, что идея заговора часто рождалась в его собственном мозгу, но по ходу ее реализации он начинал в нее верить, как в действительность.

Увлеченность идеей, вообще, нередко туманит мозги, и творцы ее начинают в нее верить, даже если это была сотворенная ими самими изначальная ложь.

Примеры таких маниакальных идей известны и из областей науки, где заведомая фальсификация фактов принималась их же авторами с верой в их достоверность, если это подтверждало идею. Такие маниакальные идеи были у Сталина наряду с холодным расчетливым истреблением массы людей, в действительности или мнимо мешавшими его безграничному единовластию тирана. Последние факторы, однако, превалировали над предполагаемыми приобретенными психологическими надстройками и координировались с ними.

При психологической направленности параноидного психопата, каким был Сталин, не мог он усмотреть в поступке Виноградова только индивидуальный, направленный против него, вредительский террористический акт. Вступила в силу цепь построений параноидного психопата с вывернутой логикой.

Первое звено этой цепи – факты послушания медиков, когда они, теряя профессиональную добросовестность и принципиальность, служили его политическим целям. Он помнил заключение врачей о смерти его жены, покончившей самоубийством, но, по официальной версии послушного синклита медиков, умершей от аппендицита. Он помнил рабский медицинский бюллетень о смерти Орджоникидзе, покончившего самоубийством, а не умершего от паралича сердца, согласно этому бюллетеню. Он мог вспомнить заключение медицинских экспертов по делу о «злодейском» умерщвлении Менжинского, Горького и его сына лечившими их врачами (Плетневым, Левиным, Казаковым). Обвинение их в этом, закрепленное суровым приговором суда, до сих пор официально не снято. Он вспомнил угодливость научной, в том числе и медицинской, элиты при инспирированной свыше научной дискредитации академиков Орбели, Штерн и многих других ученых и в то же время возложение короны гения на вздорную, невежественную голову Лепешинской, произведенное 120 учеными с разной степенью морального падения и научных рангов. Он помнил

врачей, сотрудников МГБ, выполнявших гнусные, подлейшие задания начальства.

* * *

Сталин не был пионером в использовании медицины и медиков в личных и политических целях. Разумеется, он знал в пределах его знакомства с исторической и художественной литературой, что во все исторические времена медики использовались политическими деятелями различных рангов для активного осуществления их планов, нередко преступных, или для прикрытия их. Он не видел оснований делать для себя исключение в этом отношении. Будущие объективные и добросовестные социологи, наверное, дадут картину советской общественной нравственности и морали в сталинскую и последующую эпохи и характеристику отдельных носителей этой морали во всем их многообразии.

Однако, не дожидаясь этих исследований, можно утверждать, что в морально-нравственном отношении советское общество не представляло «марксистско-ленинского» монолита, а рыхлый конгломерат пестрых этических понятий. Из этого конгломерата для любого организуемого мероприятия в любой момент можно было извлечь нужное количество подлецов, необходимое для успешного выполнения этого мероприятия, в том числе и из представителей обласканной элиты. За примером идти недалеко: стоит только напомнить о комиссии экспертов по «делу врачей». Облегчала вербовку исполнителей подлых заданий ссылка на государственную и партийную необходимость их выполнения, что снимает какие-либо моральные соображения, особенно у не имеющих твердых представлений морально-этического значения. Я не могу удержаться, чтобы не привести сентенцию одной девицы, которую упрекали в не совсем праведном поведении. На упреки она ответила: «У каждого свой нрав и своя нравственность». Сентенция – вполне современная.

Продажность элиты была следующим звеном в цепи параноидной логики Сталина. Он не верил в идейную преданность советских людей в своей стране, хотя Отечественная война должна была убедить его в обратном, а органы безопасности представляли советское общество как сборище потенциальных предателей и изменников, ждущих только возможности стать ими; на том стояла Лубянка! Сталину и его сподвижникам недоступна была мысль о том, что, несмотря на все достижения сталинской эпохи по моральному разложению

советского общества, все же был какой-то качественный и количественный предел этому разложению. Предел определяла неистребимая природная, имманентная человеческая и гражданская совесть народа, вносимая в профессию и в науку. Если в данном случае речь идет о медицинской совести, то, по далеко не случайной закономерности, обвиненные в тягчайших преступлениях медики как раз и были яркими носителями этой совести. Они были тем поколением медиков, которое из рук старых носителей лучших традиций медицины получили эти традиции, внесли их в свою деятельность, а из этих традиций – высокую врачебную заповедь: не вреди (noli nocere)! Смысл этой заповеди – избегай назначений больному, могущих ему повредить!

Они отнюдь не были ангелами, а людьми, и им были не чужды человеческие слабости, нередко с дополнительной окраской сталинской эпохи. Но они были врачами в самом высоком смысле этого слова, верными высокому призванию и высокой заповеди врача. Порукой этому – вся их деятельность на протяжении десятков лет и тысячи исцеленных ими больных.

Однако мировоззрению Сталина были недоступны высокие этические понятия.

Одурманенный идеями заговоров, он заподозрил заговор и в данном случае.

Поэтому первоначально направленная против одного Виноградова ярость Сталина трансформировалась в масштабную идею обширного заговора медиков и привела в движение услужливый аппарат МГБ, возглавлявшийся тогда Абакумовым. Выявилось чрезвычайное многообещающее поле деятельности этого аппарата, в котором непосредственно был заинтересован сам неограниченный владыка. Значение его задания превосходило все предшествовавшие в истории МГБ, оно не имело прецедента, так как затрагивало самого Сталина. Оно сулило блюдо небывалой остроты. И этот аппарат стал действовать без замедления. Была намечена в недрах МГБ, по общему универсальному приему, панорама обширного заговора, на этот раз – ведущих медиков страны против государственных деятелей Советского Союза, и эта абстрактная пока панорама стала получать конкретное оформление, заполняться людьми, по мере ее развития. Начало было положено арестами в руководящем составе кремлевской больницы. Была активно включена врач Л. Тимошук, работник электрокардиографического кабинета кремлевской больницы и секретный сотрудник МГБ; то ли из собственного усердия и инициативы, то ли по заданию она стала снабжать следственные органы материалами о

вредительских, по ее мнению, заключениях о состоянии здоровья и о лечебных мероприятиях со стороны лечащих профессоров, которые замечало ее «высококомпетентное» и бдительное око. Панорама заговора оживала за счет ареста крупнейших специалистов-медиков. Л. Тимошук была вознесена в ранг Жанны Д'Арк, особенно после признаний арестованных в их «преступной» деятельности. Нужно ли писать, какими методами были получены эти признания после того, как они были заклеймены в правительственном сообщении 4 апреля 1953 года? Это были испытанные многолетней деятельностью органов госбезопасности методы, при помощи которых у врагов «вырывали признание из горла», как это рекомендовал еще в 1937 году В. М. Молотов, ближайший соратник Сталина. Эти методы уже описаны в художественной литературе. В них входили и физические мучения, и мощные психологические воздействия, перед которыми трудно было устоять.

* * *

«Дело врачей» первоначально было лишено национальной окраски. В числе преступников были и русские, и евреи. Но затем оно было направлено преимущественно в «еврейское» русло.

«Еврейская» перекраска «дела врачей» была произведена Рюминым, по крайней мере, она приписана Н. С. Хрущевым ему. Рюмин сообщил Сталину о существовании заговора «еврейских буржуазных националистов», инспирированного американской разведкой. Рюмин информировал при этом Сталина, что министр госбезопасности Абакумов знает об этом заговоре, о нем сообщил Абакумову ранее арестованный профессор Я. Г. Этингер. Но Абакумов якобы хотел скрыть существование этого заговора (почему – непонятно!) и, чтобы ему в этом не помешал Я. Г. Этингер, он умертвил его в тюрьме.

Действительная причина смерти Я. Г. Этингера в тюрьме, вероятно, никогда не будет установлена с точностью. В последний период его жизни, до ареста, он страдал ишемической болезнью сердца (склерозом коронарных артерий) с частыми приступами стенокардии, и вероятнее всего его сердце не выдержало наслоившихся на него в заключении испытаний. Сталин серьезно отнесся к сообщению Рюмина. Абакумов был снят с должности министра госбезопасности и даже арестован, и все следствие по «делу врачей» было поручено Рюмину. Таким образом один паук в МГБ съел другого паука в расчете занять его паутину.

Рюмин усердно развивал это дело в нужном направлении, но смерть Сталина оборвала его усердие. Вскоре он был расстрелян, как главный организатор этого «дела», превосходящего по своей подлой основе все подлости периода «культа личности». В дальнейшем был расстрелян по приговору открытого суда и Абакумов, как и другие активные деятели МГБ.

Приведенные данные являются лишь чрезвычайно поверхностной и краткой схемой движущих сил «дела врачей». Они – не больше, чем едва заметная щель в завесе, прикрывающей тайны сталинского двора, по сравнению с которыми «тайны мадридского двора», приводившие в ужас читателей царского периода, – только невинные развлечения девочек из Института благородных девиц.

Приложение
Ближайшие и отдаленные предшественники «дела врачей»

Анатом академик АН СССР В. Н. Терновский и аспирант Л. Ищенко

Терновский, профессор анатомии, занимал до войны эту кафедру в Казанском медицинском институте. Казанское научное землячество было представлено в Москве группой, сильной влиянием в высших академических и правящих сферах. Вероятно, иждивением этой группы Терновский был включен в состав действительных членов Академии медицинских наук СССР при ее организации, переехал из Казани в Москву, здесь был назначен заведующим кафедрой анатомии во 2-м Московском медицинском институте и заведующим отделом нормальной анатомии в организуемом Институте нормальной и патологической морфологии Академии медицинских наук, т. е. был облагодетельствован сверх меры заслуженного.

Какой-то начальник отдела кадров в служебной характеристике одного сотрудника, отметив его вполне положительные профессиональные и служебные качества, закончил характеристику следующим признаком: «…но внешний вид не соответствует занимаемой должности». Что он понимал под внешним видом, остается тайной автора этой юмористической характеристики. Имея в виду эту часть характеристики, характеристику В. Н. Терновского надо начать с конца, т. е. отметить, что его внешний вид вполне соответствовал занимаемым должностям. С него можно было писать кинематографически стилизованный портрет ученого, художника, артиста, дирижера оркестра. Орлиноподобный нос на худощавом, бритом, слегка тронутом морщинами лице был украшен очками в золотой оправе. Зачесанные назад редкие волосы, открывающие узкий невысокий лоб. Улыбки на лице никогда не видно, что производит впечатление серьезной вдумчивости. На голове темно-синий берет, дополняющий общий стиль. Речь Терновского медленная, растянутая, с речевыми оборотами, стилизованными под дореволюционного интеллигента. Эту маску он сохранял и в лекциях студентам.

Он не читал лекции, он вещал; это был не сухой курс трудной

анатомии, а декламация. К студентам он обращался со словами: «Друзья мои!», в которых была и демагогия, и деланная снисходительность отягощенного наукой ученого к юным слушателям. В декламационном изложении анатомических терминов, например, таком, как: «Как красиво звучит название – „протуберанция окципиталис магна», он имел прототип в чеховском «человеке в футляре», восхищавшемся красотой иностранных слов: «алон, трон, бонус…». За этой напыщенностью, однако, скрывалась пустота и поверхностное знание анатомии.

Может быть, когда-то он ее и знал, но многое забыл, как это выяснялось нередко при научном контакте с ним (он его избегал) и из некоторых его поступков.

С деятельностью профессора В. Н. Терновского я соприкоснулся непосредственно в Институте морфологии, где я был заместителем директора А. И. Абрикосова – по руководству научной работой. Как уже было упомянуто, Терновский был заведующим отделом нормальной анатомии, насчитывавшим 24 сотрудника. Вследствие отсутствия специального помещения для этого отдела, требующего организации большого анатомического хозяйства с анатомическим театром, трупохранилищем и т. д., отдел этот был на территории кафедры анатомии 2-го Медицинского института (где Терновский был профессором) и, по существу, был разросшимся придатком к этой кафедре, ее финансовым усилителем, а большинство сотрудников совмещали службу в институте со службой на кафедре. В силу этих обстоятельств контроль за работой этого отдела практически был невозможен. Он целиком осуществлялся В. Н. Терновским, т. е. вообще не осуществлялся, т. к. сам Терновский был редким посетителем кафедры. Науки в отделе никакой не было, а отчеты о ней были просто фикцией.

Деятельность Терновского была направлена в основном на улучшение своих финансовых дел. Они в избыточной степени были обеспечены большими служебными окладами и платой за звание академика. Несмотря на это, он провел сомнительную финансовую операцию с анатомической библиотекой.

В прямом обмане, граничащем с криминалом, он был уличен в истории с изданием Медгизом за его авторством краткого руководства по анатомической технике. Как легко выяснилось, это «оригинальное» руководство было точным переводом немецкого руководства, приложенного к учебнику анатомии одного немецкого анатома. Пикантно еще и то, что немецкий автор этого учебника во втором его издании это руководство выпустил, находя его, как он отметил в предисловии, неудачным. Терновский рассчитывал, вероятно, на то, что советские анатомы

знакомы с немецким учебником по второму изданию и забыли об этом руководстве по анатомической технике, помещенном в первом издании.

Но его расчеты не оправдались. Дотошный профессор П. П. Дьяконов обнаружил бессовестный плагиат и широко о нем информировал. Надо сказать, что в русском издании этого руководства не все было плагиатом. Был и оригинальный вклад Терновского в виде неряшливо выполненных, точно детской рукой, контурных изображений некоторых анатомических деталей, к тому же свидетельствующих об элементарном невежестве исполнителя. Так, например, коленная чашечка (надколенник), самостоятельная анатомическая деталь, в изображении Терновского оказалась частью бедренной кости.

Разыгрался скандал, получивший отображение в печати. Но высокопоставленные друзья Терновского начали энергично отмывать добела черного кобеля. Как это ни странно (в ту пору, однако, ничто не было странным), им это удалось, вопреки народной мудрости. Заступничеством друзей вся вина была свалена на анонимных ассистентов (никто наказан не был, фамилия их нигде не упоминалась), которые якобы подвели своего доверчивого шефа. Никаких последствий эта гнусная история не имела.

В Институте морфологии все научные планы отдела анатомии и все отчеты об их выполнении из года в год заключались в редактировании перевода на русский язык произведения средневекового анатома Везалия. Когда, наконец, этот средневековый «Везалий» увидел русский свет, то, как утверждали, перевод был сделан не с оригинала, написанного на латинском языке, а с немецкого его перевода.

Верным и активным помощником Терновского по очковтирательству была его старший научный сотрудник С. Б. Дзугаева. Это – тоже яркий персонаж того периода, но более мелкого калибра.

Осенью 1949 года Институт морфологии получил распоряжение президиума Академии о сокращении ежемесячного фонда зарплаты путем сокращения числа сотрудников. Инициатива в практическом решении этого вопроса предоставлялась руководству института, но рекомендовалось не обескровливать полноценные в научном отношении лаборатории путем равномерного сокращения числа их сотрудников, а ликвидировать отдельные структурные единицы, не представляющие большой ценности для института. По всем своим признакам такой структурной единицей был отдел анатомии, и в полной убежденности в его научной бесплодности, в

бессовестном расходовании на его паразитическое существование государственных средств – я представил к сокращению этот отдел целиком, полагая, что это совпадет с интересами государства.

Инициатива исходила от меня, но ее в дальнейшем поддержал А. И. Абрикосов, и она была реализована. Президиум Академии согласился с предложением и аргументацией института и утвердил представление о сокращении.

Что за этим последовало, можно было предвидеть. Это был взрыв бомбы, эхо которого доносилось до меня еще очень долго. Первая реакция была со стороны начальника Управления кадров Академии Зилова, деятеля сталинского периода. В момент опубликования приказа о сокращении его не было в Москве, а по возвращении он увидел, что реализация приказа резко расходится с его установками о целевой направленности операции по сокращению. По его установкам основной смысл и задача всей операции заключалась в сокращении числа научных сотрудников-евреев. Ликвидацией отдела Терновского эта цель ни в какой степени не достигалась, но обратного хода не было, приказ о сокращении был уже издан, и финансовая задача сокращения была полностью выполнена. Тогда Зилов потребовал в виде компенсации увольнения некоторого числа евреев; это требование было совершенно откровенным, без прикрытия его фиговым листком. Но здесь поживиться особенно было нечем. Научный состав был, в общем, высокой профессиональной квалификации, и без фигового листка сокращение этого состава было бы слишком скандальным. Зилов был в крайне затруднительном положении. Чтобы хоть чем-нибудь поживиться, он нацелился на две фамилии, но с одной из них ему не повезло. Владелица фамилии оказалась очень упорной в сопротивляемости и никак не хотела стать жертвой зиловской кровожадности. Неожиданное заступничество она нашла в лице всесильного академика Лысенко. Эта сотрудница вела исследование в области наследственности рака. Она добралась до Лысенко, рассказала ему об общем направлении своих работ, и Лысенко обратился с официальным письмом к директору института А. И. Абрикосову. В письме он одобрительно отозвался о ее работах, находя их интересными, и указывал, что такого ценного исследователя увольнять не следует. Сам по себе характерен факт вмешательства Лысенко в дела института, никакого отношения к нему не имеющего. Занятным тут является и то обстоятельство, что исследования «жертвы» велись с позиций менделизма-морганизма, ненавистных Лысенко, но по ограниченности своей общей эрудиции в вопросах генетики он в этом не разобрался, т. к., по-видимому, сути этой генетики он до

конца не знал. В результате демарша Лысенко пришлось бедному Зилову ограничиться одной жертвой, да и то, как оказалось впоследствии, только наполовину. Его антисемитская гора родила даже не целую мышь, а только полмыши!

Однако возвратимся к Терновскому. Существует пессимистический закон, согласно которому ни один благонамеренный или добрый поступок не должен оставаться безнаказанным. Теоретически я знал этот закон, но никогда ему не следовал по своей оптимистической природе. Но на сей раз я вынужден был убедиться в силе этого закона. Наказание последовало позднее, но сигнал о его неотвратимой неизбежности я получил вскоре после описанного события.

Сигнал этот мне был передан одним руководящим работником Академии для ознакомления (разумеется, совершенно конфиденциально). Передаю почти дословно первые строки этого сигнала, адресованного всемогущему Берия, палачу, шефу органов госбезопасности.

«Глубокоуважаемый Лаврентий Павлович! Считаем необходимым обратить Ваше внимание на Институт нормальной и патологической морфологии Академии медицинских наук. Директором этого института состоит академик А. И. Абрикосов, но за его спиной действует шайка еврейских буржуазных националистов, ставящих своей задачей разрушение русской науки. Во главе этой шайки стоит профессор Я. Л. Рапопорт, членами шайки являются (далее следует несколько имен крупных научных работников-евреев). Эта шайка, возглавляемая Рапопортом, при попустительстве академика Абрикосова, ликвидировала отдел анатомии Института морфологии, во главе которого стоял крупнейший ученый, действительный член Академии медицинских наук, профессор В. Н. Терновский. Отдел анатомии был лучшим научным отделом института, его украшением, выпускавшим замечательные научные работы». Далее на двух страницах идет безудержное и бессовестное восхваление научных достижений Терновского и его отдела и освещение гнусной работы «шайки».

Письмо это (авторство его не вызывает сомнений) было направлено Берия в президиум Академии для ответа по существу его. О дальнейшей переписке мне ничего не известно, судя по ближайшим последствиям, инсинуации, содержащиеся в письме, были президиумом убедительно опровергнуты. Но все же письмо, конечно, не прошло бесследно, и напоминание о нем я получил в грозные дни 1953 года. Надо ли говорить о том, чего добивались авторы этого послания, адресуя его Берия, и какую реакцию ожидали они от этого палача?

Литературное творчество «обиженных» анатомов не ограничилось письмом к Берия. Они вдохновили на аналогичный подвиг мою аспирантку Лидию Ищенко. Об этом стоит рассказать подробнее, это – тоже событие, характеризующее эпоху.

Л. Ищенко в 1948 году была принята в аспирантуру по Институту морфологии к А. И. Абрикосову. Лаборатория А. И. Абрикосова находилась при его кафедре патологической анатомии 1-го Московского медицинского института в переулке, носящем теперь имя академика Абрикосова. По истечении года работы А. И. Абрикосов представил Ищенко к отчислению из аспирантуры ввиду выяснившейся неспособности ее и крайней неуживчивости в коллективе, где она перессорилась со всеми. Однако отдел кадров Академии не согласился с ее отчислением и принял решение о продолжении ее аспирантуры под моим руководством в моей лаборатории, находившейся на территории 1-й Московской городской клинической больницы на Ленинском проспекте. Я категорически воспротивился переводу в мою лабораторию аспиранта с прочно сложившейся репутацией, вызвавшего небывалую реакцию со стороны такого терпеливого и доброжелательного руководителя, как А. И. Абрикосов. Но в Академии мне было заявлено, что сопротивление бесполезно, что хочу я или не хочу, но Ищенко будет продолжать аспирантуру в моей лаборатории. По-видимому, для такого категорического, не подлежавшего оспариванию решения были какие-то высшие соображения.

Первое время Ищенко держала себя сравнительно нормально, т. е. без эксцессов. По-видимому, значение имело уступчивое и доброжелательное отношение к ней со стороны моих сотрудников, которое я им внушил.

Несомненной была ее низкая общая культура с убогой речью, замкнутость и отчужденность от остального коллектива. Она с грехом пополам выполняла текущие задачи по прозекторской работе, не выявив желания и способностей к ней. Я сохранил за ней тему ее диссертационной работы, данную ей А. И.

Абрикосовым, совместно с ней разработал детальный план исследований. Она посещала общие для всех аспирантов и молодых диссертантов института занятия по иностранному языку и марксистско-ленинской теории. На моих сотрудников и на всех, с кем она соприкасалась на этих занятиях, она производила впечатление душевнобольного человека.

В течение первого года ее работы у меня (второго года аспирантуры) она всячески уклонялась под любыми предлогами от контроля за ее научной работой, то откладывая контрольный отчет, то избегая встречи со мной для такого отчета. С этим она

вступила в третий, последний год аспирантуры, и я предпринял энергичное наступление для получения отчета и ознакомления с состоянием диссертационной темы. Представить мне для проверки исходные научные материалы в виде гистологических препаратов она наотрез отказалась, откровенно намекая на то, что я или кто-нибудь другой могут их использовать для своей работы, т. е. научно обокрасть ее. Тогда я, употребив большую настойчивость и большую степень терпения, добился ее согласия на представление хотя бы письменного отчета. При этом она заявила, что диссертация у нее совсем готова, что даже написаны выводы, и на мое удивление законченностью выводов при отсутствии конкретных материалов исследования и его литературного оформления она сказала буквально следующее:

«Материалы всякий дурак может собрать и описать их, а вот хорошие выводы не всякий может сделать». Ошеломленный такой декларацией о методике научного творчества, я был в тупике – как мне поступить? Ведь я отвечаю за своевременное завершение аспирантуры с представлением законченной диссертации, а в то время это была не только служебная, но и политическая ответственность, и я ее понимал и чувствовал. В Академии при ознакомлении с положением дела от меня отмахивались с твердым указанием о необходимости доведения аспирантуры Ищенко до благополучного конца. Я снова предпринял энергичную атаку на Ищенко с требованием представить мне хотя бы выводы из диссертации, на что она дала согласие. В назначенный день и час после настойчивых напоминаний она пришла ко мне в кабинет, держа в руках листы бумаги, но дать их мне для прочтения отказалась, сказав, что прочтет их сама. Я согласился и на это. Она начала что-то говорить, глядя на листы и переворачивая их, причем из ее речи было совершенно ясно, что она, не читает, а фабулирует, т. е. делает вид, что читает, а в действительности произносит тут же выдуманный, не связанный единой мыслью набор слов и фраз.

Мне удалось на одно мгновенье заглянуть в скрываемые от меня листы и заметить, что только в некоторых (она держала их веером) имеется несколько написанных слов в начале страницы. Положение мое было трудное, т. к. я вынужден был пойти на беспрецедентный и порочащий меня, как руководителя, шаг – требовать отчисления Ищенко из аспирантуры почти у самого календарного срока ее окончания, о чем я ее информировал.

В один, как говорят, прекрасный день мне звонят по телефону из здания Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ) в другом конце Москвы, где размещалась основная часть лабораторий института и дирекция, что туда прибыл

корреспондент «Правды» и, предъявив свою корреспондентскую карточку, ходит по лабораториям, беседует с сотрудниками, не говоря о цели своего визита. Но из разговоров с сотрудниками выясняется, что он интересуется главным образом мною, моим участием в подготовке кадров, отношением к молодежи и к их работе. Ответы он получил самые для меня благоприятные, т. к. действительно я помогал молодежи, чем мог, многие проходили патологоанатомический практикум в моей лаборатории. Корреспондент интересовался также Ищенко, мнением сотрудников о ней, и они без обиняков единодушно говорили, что она душевнобольная. К концу дня я приехал в ВИЭМ, застал там корреспондента, но он не проявил ко мне никакого интереса и никакого желания поговорить со мной, хотя я был заместителем директора института по научной работе.

На следующий день в мою лабораторию вдруг нагрянула комиссия (всего состава ее я не помню, по-видимому, это были люди мало мне известные), которая опять-таки, не вступая со мной в контакт, выясняла у сотрудников (даже у лаборантов) характер моего руководства их работой, внимания, которое я этому уделяю, нет ли предпочтительности по отношению к одним (в частности – евреям) и дискриминационного пренебрежения к другим. Здесь также выяснилось, что особый и придирчивый интерес они проявляют к взаимоотношениям с Ищенко, не преследую ли я ее, не скрывая, что они очень хотели бы получить на это утвердительный ответ. Однако они его не получили, чем были явно недовольны и не удовлетворены. Какие выводы сделала комиссия из своего визита, мне неизвестно, да и она не информировала меня о своих заданиях и целях. У меня нет никакого сомнения, что она прибыла с готовыми выводами (подобно тому, как у Ищенко были заранее готовые выводы по несделанной диссертации), а ее посещение лаборатории необходимо было для формального обоснования выводов.

Между тем в ближайшие дни в ученом совете института под председательством А. И. Абрикосова должен был состояться отчет Ищенко по ее диссертационной работе. На этом заседании присутствовал и корреспондент «Правды». Отчет произвел на всех тяжелое впечатление бреда невежественного и душевнобольного человека и был признан неудовлетворительным. Корреспондент, молодой человек интеллигентной внешности, сидел в задних рядах зала в соседстве с молодыми сотрудниками института. После конца заседания они спросили у него его мнение об отчете и об Ищенко. Он ответил, что ему все-таки не все ясно. Я случайно встретился с корреспондентом у входа в вагон метро и тоже спросил у него о его впечатлении. Он уклонился от прямого

ответа (он был сдержан в словах) и сказал только, что он едет доложить начальству обо всем и думает, что статьи не будет. Я в тот момент не понял, о какой статье идет речь. В первый момент думал о какой-то уголовной статье за какое-то преступление и был в недоумении до тех пор, пока не узнал в президиуме Академии о подоплеке всего этого непонятного ажиотажа вокруг аспирантки Ищенко. Там мне показали направленное ею в редакцию «Правды» письмо на многих страницах машинописи. В этом письме-доносе она писала о том, что она сделала крупное научное открытие, но была вынуждена тщательно скрывать его от меня и моих сотрудников, так как я домогался овладеть этим открытием и присвоить его себе. Далее она писала очень подробно о тех преследованиях, которым она подвергалась по национальным побуждениям с моей стороны, и что к этим преследованиям я привлек сотрудников еврейской национальности из моей лаборатории и из лаборатории А. И.Абрикосова, называя в том числе и тех, которые ее в глаза не видели и не слышали о ней ничего. В разговоре со мной обо всем этом деле вице-президент Академии Н. И. Озерецкий, образованный психиатр и умный человек, сказал мне, что для него была совершенно ясна тяжелая форма шизофрении у аспирантки Ищенко, но меня спасло то, что это стало ясным и очевидным для всех, кто вступал с ней в контакт. Для жертвенной героини она не подошла, иначе бы мне несдобровать. Я только тогда понял, о какой статье говорил корреспондент, готовилась разгромная статья в «Правде», посвященная мне.

Прочтя этот донос, многие его формулировки, я почувствовал в нем что-то мне знакомое. Я узнал в нем знакомый уже мне почерк авторов письма к Берия.

Тут я вспомнил, что мне мои сотрудники говорили о странном интересе Ищенко к кафедре анатомии Терновского, о ее частых визитах туда якобы по научным делам. Что же, писать доносы тоже надо учиться, и она нашла опытных учителей, подстрекателей и инструкторов по доносам. Я только никак не мог понять, каким образом она вступила в контакт с Терновским и Дзугаевой.

Кто-то указал ей эту дорогу, т. к. сама она безусловно не подозревала о самом наличии этих людей по своей замкнутости и отсутствию соответствующей ориентировки. Много лет спустя я получил достоверный ответ на этот вопрос.

Таким «диспетчером подлости» была одна из технических секретарей медико-биологического отделения Академии, темная, но ясная по специальным связям с «органами» личность, подруга Дзугаевой и «покровительница» Терновского.

Прошло много трудных и бурных лет с кульминацией в виде «дела врачей».

Постепенно все становилось на свои места, очищался политический и моральный фон, так омраченный сталинской эпохой. Ушли в далекое прошлое и стали туманом события, связанные с аспиранткой Ищенко. Она сама бесследно исчезла… Как вдруг лет через 10–12 после этих событий (происходивших ранней весной 1951 года) донеслось их эхо. Однажды (это было часов около восьми вечера, было уже темно) я, сидя за работой в своем домашнем кабинете, услышал звонок в прихожей и женские голоса. Открывшая кому-то двери работница сказала мне, что меня спрашивает какая-то женщина. Я сказал, чтобы она вошла ко мне в кабинет, и вдруг я увидел… Ищенко. Мне бросилась в глаза ее безобразная полнота, характерная для многих больных шизофреничек с резко нарушенным обменом, особенно после пребывания в психиатрических больницах. В руках у нее была потрепанного вида канцелярская папка. В первый момент я от неожиданности оторопел и даже немного испугался, как будто увидел привидение, оживший призрак, давно ушедший из моего сознания. Я пригласил ее сесть, она села и стала сбивчиво повторять одну и ту же фразу:

«Вас будут вызывать, вас будут спрашивать, я принесла вам эти бумаги, чтобы вы их знали», и стала протягивать мне папку, в которой я увидел знакомые мне листки с копией ее доноса, пожелтевшие от времени и плохой бумаги. Я стал ее успокаивать, что меня никто никуда вызывать не будет, ни о чем не будут спрашивать, что мне эти бумаги не нужны, но она стереотипно повторяла: «Вас будут вызывать, будут спрашивать», и настойчиво протягивала мне эти постаревшие документы человеческой подлости. Я едва-едва ее успокоил, проводил до дверей и за двери вместе с ее бумагами и вернулся в свой кабинет, взволнованный этим визитом, реально вернувшим меня в, казалось бы, навсегда канувшее в вечность прошлое при виде живого мрачного призрака его.

Анализируя свой отказ принять от нее эти бумаги, я понимаю, почему я так поступил. Эта несчастная берегла их в течение многих лет и решила расстаться с ними, принести их мне в дар, как свидетельство своего раскаяния, подсказанного ей больной совестью шизофреника. Я не мог принять этого «дара», я был в ужасе от этих отвратительных реликвий прошлого. Было смешанное чувство брезгливости и глубокой жалости к этой несчастной женщине, тоже продукту и жертве эпохи.

Имя академика Лины Соломоновны Штерн в широких кругах нового поколения работников медицины и биологии известно более понаслышке и вытеснено обилием новой информации. Образ ее, заслуживающий объективной портретной характеристики, сохранился в памяти лишь очень немногих уцелевших современников, к которым принадлежит и автор этих строк.

Л. С. Штерн, выходец из обеспеченной семьи латвийских евреев, получила медицинское образование в Швейцарии. По окончании университета в Женеве в 1904 году она, выделявшаяся своими способностями, была оставлена для научно-исследовательской работы при кафедре физиологии этого университета, во главе которой стоял известный в то время профессор Прево. Она скоро стала ассистентом профессора Прево и быстро завоевала себе научное имя в мировой науке рядом работ, особенно работами в области окислительных ферментов. Она с успехом выступала на всех крупных международных конференциях и конгрессах, и это также создало ей большую популярность в научном мире, в то время сравнительно ограниченном и чрезвычайно доступном для широких личных контактов. Последнее облегчалось для Л. С. Штерн свободным владением всеми европейскими языками. Ее друзья, по ее словам, острили, что она говорит на всех языках, даже на еврейском, но это была только шутка: еврейского языка она не знала. В дальнейшем, в 1917 году она была избрана профессором кафедры биохимии Женевского университета (в те времена не было такого водораздела между физиологией и биохимией) и занимала эту кафедру до своего переезда в Советский Союз в 1925 году. Материально она была очень обеспечена (до 20 000 полноценных, «золотых» франков в год), состоя одновременно с заведованием кафедрой консультантом фармацевтических фирм. Здесь она создала метод получения гормонально-активных препаратов, в дальнейшем развитый и использованный ею и ее сотрудниками в исследовательских работах в Москве для получения «метаболитов» различных органов и тканей. Суть метода заключалась в приживании тканей в питательной среде, в которую они отдавали продукты своей специфической жизнедеятельности. Последние ее работы женевского периода были посвящены исследованиям особого физиологического механизма в центральной нервной системе, обеспечивающего столь важное для нормальной функции нервной ткани мозга постоянство его внутренней среды и ограждение ее от вредных внешних влияний, и в первую очередь – от различных веществ, содержащихся в крови и могущих быть вредными для нервной

ткани мозга. Этому механизму она дала название – «гематоэнцефалический барьер» (т. е. барьер между кровью и тканью мозга), ставшее классическим его определением и прочно укоренившееся в медицине и биологии. В дальнейшем принцип барьерных механизмов она распространила на все органы, и этот принцип, в основе которого лежит проницаемость кровеносных капилляров, получил название «гистогематические (кроветканевые) барьеры» – название, также укоренившееся.

Таким образом, к моменту своего переезда в Советский Союз у Л. С. Штерн был крупный научный багаж, крупное имя в мировой науке и полное материальное и академическое благополучие в мирной буржуазной Женеве. Все это она, не задумываясь, как она сама говорила, ни на минуту (в решениях она была быстра), променяла на новую жизнь в новой обстановке бурного строительства социалистического общества, отнюдь не сулившего ей буржуазного покоя. Ее поступками иногда руководили какие-то элементы авантюризма в ее характере, интуитивное влечение к новому. Это относилось и к ее научному творчеству. Ее женевские и другие друзья из капиталистического мира решительно отговаривали ее от переезда в Советский Союз. Они пугали ее: «Вас там ограбят материально и научно и, в конце концов, посадят в ЧК и сошлют в Сибирь». И все же ее не остановили эти пророчества, угроза потери друзей, и она, не задумываясь, приняла предложение академика А. Н. Баха, ее старого друга, и профессора Г. И. Збарского переехать в Советский Союз для научной и педагогической работы.

Для того чтобы понять многое из последующей ее жизни в Советском Союзе, необходимо представить академическую среду 20-х годов и основные черты самой Л. С., ее характерологический портрет, перенесенный в эту среду.

В мировой физиологической науке того времени королевский престол занимал И. П. Павлов. Его место в науке не требует комментариев и мотивировок, а в своем отечестве он был подлинным и непререкаемым физиологическим вождем. Вся советская физиология была павловской физиологией, все советские физиологи, занимавшие кафедры физиологии в вузах (а в то время наука еще была сосредоточена в вузах), были в той или иной степени учениками и последователями И. П. Павлова. Это была в действительности единая павловская школа. Следует при этом заметить, что переход представителей этой школы, как и самого И. П. Павлова, на общие рельсы Советского государства и советского строя совершался медленно, с большим трудом, что отнюдь не представляло исключения в общем настроении русской научной интеллигенции того времени. В эту атмосферу научного

и политического единства ворвался чуждый элемент в лице Л. С. Штерн, и она была встречена в штыки.

Объективность требует сказать, что такой встрече способствовали и некоторые черты самой Л. С. Внешность ее отнюдь не была подкупающей и на первый взгляд не внушала непосредственной симпатии. Небольшого роста, полная, с коротко постриженными седеющими (а в дальнейшем седыми) волосами, русским языком владеет не совсем свободно, часто подыскивает нужные слова, которые собеседнику иногда приходится подсказывать. Речь с сильным французским акцентом.

Характер Л. С., определявший ее поступки и взаимоотношения с окружающим человеческим миром, был соткан из редкого сочетания противоречивых черт, и, как это ни представляется парадоксальным, эта противоречивость формировала своеобразную цельность и неповторимую оригинальность, отсутствие штампа в ее натуре.

Парадоксальной была нередкая наивность в восприятии внешней обстановки и в оценке различных событий – наряду с глубиной суждений, характеризующей высокий интеллект. Иногда, однако, эта наивность была, несомненно, наигранной. Доверчивость сочеталась в ней с подозрительностью. От первой выигрывали часто различные проходимцы, гангстеры от науки, использовавшие научный опыт и авторитет Л. С. в своих грязных целях; от второй страдали близкие сотрудники и преданные ей ученики. Демократизм отношений, простота и доступность сочетались с автократическим деспотизмом. Широта натуры в больших масштабах сочеталась с потрясающей мелочной скупостью и скопидомством. Прямолинейность и агрессивная резкость, воспринимаемые как потрясающее отсутствие такта, нажившие ей в короткий срок немало врагов, сочетались с несомненной дипломатичностью в ряде случаев. Все эти характерологические черты покрывал несомненный блестящий ум, искрящееся остроумие, глубокая преданность науке – основная руководящая нить ее жизни, по крайней мере в первый довоенный период ее работы в Москве, сочетавшийся в последний период с погоней за внешним эффектом. Все эти качества отнюдь не способствовали доброжелательному отношению к Л. С., часто использовались и гипертрофировались ее противниками (а их у нее было немало), да и близкие к ней люди иногда говорили, что надо ее очень любить за ее крупные достоинства, чтобы прощать крупные недостатки.

Наука была ее жизнью, она жила в ней и для нее принесла в жертву личную жизнь, понимаемую как организацию семьи, и все, что с этим было связано.

Совершенно случайно до меня дошел отголосок того, что эта жертва была действительной, а не декларативной. В 1928 году я опубликовал в одном из зарубежных международных журналов научную работу (одну из первых в моей научной деятельности), привлекшую внимание ряда зарубежных ученых и посвященную одному из тяжелых осложнений малярии (в ту пору частой болезни).

Ко мне обращались с просьбой не только о присылке отдельных оттисков статьи, но и кусочков органов, взятых при вскрытии, для изучения изменений в них при этом осложнении, которые я описывал в статье. В то время контакты с зарубежными учеными не были осложненными и мне легко было выполнить эти просьбы. Так завязалась переписка с некоторыми зарубежными учеными. Одно из таких писем, уже не носившее официального характера, а чисто дружеское (в ту пору отношения в научной среде определялись не возрастом, стажем в науке, ученым званием, а интересом научного произведения автора), я получил из Англии от профессора В. Только что полученное от него письмо с обратным адресом на конверте лежало у меня в рабочем кабинете на столе, когда вошла Л. С. Штерн и, увидев письмо со знакомым ей, по-видимому, почерком, очень взволновалась и возбужденно спросила: «Откуда Вы знаете В. и почему он Вам пишет?» Из ее возбужденной реакции я увидел, что она считает письмо, полученное мною, не случайностью и что оно ее сильно взволновало. Я разъяснил ей происхождение письма, разъяснение мое, по-видимому, было для нее убедительным, но причину волнения, вызванного им, я узнал позднее от самой Л. С. Профессор В. был ее единственным серьезным романом, который должен был закончиться браком. Она приняла его предложение, и, кажется, уже было что-то вроде помолвки. После нее жених (англичанин, по-видимому, пуританских нравов и воспитания) разъяснил своей невесте свои взгляды на семью и ее место и обязанности в семье. Это место и обязанности исключали дальнейшую жизнь жены в науке. Молодая невеста взяла обратно свое согласие стать женой на этих условиях, и намечавшийся брак не состоялся. Оба они остались верными своей, по-видимому, первой любви. Л. С. не вышла замуж, профессор В. остался холостяком. Во время ее частых поездок в Европу в первые годы жизни в Москве они встречались, и мне кажется, что эти встречи были немалым поводом для этих поездок. По-видимому, больше романов у Л. С. в жизни не было, и, вероятно, роль в этом играла не только ее увлеченность наукой, но и маловыигрышная внешность. К теме о романах она нередко возвращалась в дружеских беседах, но только в шутливой форме, за которой,

может быть, скрывалась неосознанная (а может быть, и гонимая) тоска женщины по полноценной женской жизни. Женщина в Л. С. всегда шла впереди академика…

Бескомпромиссная жертвенность для науки нередко была причиной конфликтов, возникавших между Л. С. и ее сотрудницами, делившими науку с семьей и обязанностями жены и матери детей. Одной из руководящих идей Л. С. при организации своего научного коллектива на кафедре физиологии 2-го МГУ (в дальнейшем 2-го Московского мед. института), в научной лаборатории и в Институте физиологии Академии наук было вовлечение женщины в науку. В настоящее время, когда широкое представительство женщин в науке стало обычным явлением, подобные идеи кажутся архаичными и даже в какой-то мере смешными. Но в 20-х и даже в 30-х годах, когда для женщины только открывались пути в различные области общественной жизни, когда борьба за это нередко велась только суфражистками под предводительством англичанки Панкхерст, эти идеи были передовыми, и их реализация требовала специального внимания и больших усилий по выращиванию кадров ученых-женщин. Поэтому каждый уход научного сотрудника – женщины или мужчины – в семью, каждое отвлечение семьей такого сотрудника от науки (рождение ребенка, болезни детей, разнообразные семейные и бытовые обязанности и т. д.) Л. С. переживались, как предательство науки, вызывали в ней бурный, иногда грубый по форме протест, а с бытовыми тяготами, крайне сложными и осложнявшими во многие периоды жизнь отягощенных семьей советских женщин, Л. С. считаться не хотела и отказывалась принимать эти соображения от своих сотрудниц. В этом, несомненно, проявлялся эгоцентризм одинокого, очень хорошо материально обеспеченного и свободного от привязанностей человека, а родственные привязанности занимали мало места в эмоциональной сфере Л. С., во всяком случае, не настолько, чтобы она могла пойти хоть на минимальную жертву для этих привязанностей…

Конфликтные отношения с миром физиологов возникли у нее сразу по приезде в Советский Союз, и этому способствовали не столько характерологические черты, сколько плохая ориентация в новом для нее академическом окружении, недружелюбно ее встретившем. Все это создало для Л.С. большие трудности в организации кафедры физиологии во 2-м Московском государственном университете (впоследствии медицинский факультет этого университета выделился в виде 2-го Моск. мед. института). Этой кафедрой заведовал до нее известный физиолог

профессор Шатерников по совместительству с кафедрой 1-го Моск. гос. университета. Л. С. пришлось практически создавать кафедру заново, начиная с подбора сотрудников, технического и лабораторного оборудования, приспособления помещения, организации практических занятий, в которых, по ее педагогическим установкам, большое место занимал демонстрационный и самостоятельный эксперимент. Только неистощимая энергия Л. С. и поддержка немногочисленных, но влиятельных друзей позволили ей в короткий срок организовать педагогический процесс и научную работу и обучить приглашенных сотрудников-ассистентов. Это обучение включало элементарную методику физиологического эксперимента, начиная с привязывания животного к экспериментальному станку, производство подкожных, внутрисосудистых и внутримозговых инъекций и кончая более сложными специальными манипуляциями. Она дорожила каждым из приобретенных сотрудников, не щадила ни сил, ни времени на их научную и педагогическую подготовку и не раз выражала готовность остаться в лаборатории на ночь, если это было вызвано производственной необходимостью.

Именно поэтому всю свою последующую жизнь она не могла забыть трагического эпизода, жертвой которого был ее аспирант К. – молодой человек, милый, приятный, способный, интеллигентный юноша. Он был женат на молодой женщине, с интересными, подкупающими внешними данными, которым, по-видимому, не соответствовали внутренние моральные стороны. У нее возник роман с одним молодым ученым, будущим видным академиком. Жертвой романа стал К.: он покончил жизнь самоубийством, приняв большую дозу хлоралгидрата.

Враждебное отношение к академику, как к косвенному виновнику гибели любимого ученика, Л. С. пронесла через всю жизнь, что отразилось, разумеется, на их отношениях, бывших не безразличными для Л. С. в силу высокого положения академика в научной общественной среде и в самой Академии. Мой упрек в злопамятстве Л. С. отвела, сказавши: «Я не злопамятна», но тут же добавила: «Но я помню!» Постепенно наладился и педагогический процесс, и научная работа.

Основное место в ней занимали исследования в области гематоэнцефалического барьера, в которых принимал участие и автор этих строк. Не раз у нас были бурные столкновения с Л. С. из-за разного подхода к конкретным вопросам исследования. Старого профессора эти вспышки не обижали; более того, они, по-видимому, ей в какой-то мере импонировали, т. к. были проявлением научного темперамента, к которому она относилась

с сочувствием и даже с симпатией. Но однажды они все же завершились стойким разрывом и прекращением совместной работы при сохранении, в общем до конца жизни Л. С., дружеских отношений, с некоторыми перерывами, виной которым был опять-таки темперамент и характер обоих действующих лиц. На книге первого издания работ ее института в 1935 году, где была и моя статья, имеется автограф: «Дорогому Якову Львовичу в память многолетней борьбы и дружбы».

До середины 30-х годов Л. С. почти каждый год ездила за границу, выступала на международных конгрессах и конференциях и поддерживала личные контакты с зарубежными учеными (все это ей потом вспомнили!). Многие из них приезжали по приглашению Л. С. к ней в лабораторию (в дальнейшем – Институт физиологии Академии наук СССР), привозили с собой сложную аппаратуру для специальных исследований, обучали пользованию ею сотрудников института, что сыграло немалую роль в их научном прогрессе.

Постепенно вошла в привычную колею педагогическая и научная деятельность кафедры физиологии под руководством Л. С.

В 1925 году профессором В. Ф. Зелениным, известным терапевтом, был организован научно-исследовательский Медико-биологический институт в системе Главнауки, где начальником был Ф. Н. Петров, старый большевик, ветеран Коммунистической партии и соратник В. И. Ленина. По замыслу организаторов этого института он должен был представлять комплекс терапевтической (преимущественно – кардиологической) клиники и экспериментальных лабораторий. Это был прообраз будущей Академии медицинских наук. В центре Медико-биологического института, вначале базировавшегося в Ново-Екатерининской больнице (у Петровских ворот), была клиника, руководимая самим В. Ф. Зелениным. Вокруг нее группировался ряд экспериментальных лабораторий, которыми руководили А. А. Богомолец (в дальнейшем президент Украинской академии наук); А. А. Кулябко, вошедший в науку первым восстановлением деятельности извлеченного из трупа сердца умершего человека (ребенка) посредством пропускания через него физиологического раствора солей; М. Я. Серейский – известный в ту пору психиатр и биохимик; Л. С. Штерн. Институт был школой, вырастившей в своих стенах ряд будущих известных ученых (Н. Н. Сиротинин, М. С. Вовси, Л. И. Фогельсон, Б. Б. Коган, Н. Б. Медведева). Под ударами извне Медико-биологический институт утратил в дальнейшем свое первоначальное лицо и был в начале 30-х годов реорганизован в Медико-генетический институт, директором

которого стал С. Г. Левит, пионер и основатель медицинской генетики в СССР, в дальнейшем (1938) павший жертвой обычных для того периода необоснованных репрессий. При реорганизации Медико-биологического института Л. С. Штерн сохранила свою лабораторию в системе Главнауки при поддержке Ф. Н. Петрова, в дальнейшем реорганизовав ее в научно-исследовательский Институт физиологии в системе Академии наук СССР.

В 1938 году она была избрана действительным членом этой Академии – первой женщиной-академиком в Советском Союзе (да и во всем мире). Она занимала почетное место в книге, изданной в Германии, посвященной выдающимся женщинам Европы (Fьhrende Frauen Europas).

Я не ставлю целью подробное изложение биографии Л. С. Штерн, а только лишь краткое освещение пути, закончившегося попыткой ее научного и физического уничтожения, как частого общественного явления, характерного для послевоенного периода сталинской эпохи. Поэтому я опускаю ряд деталей ее биографии, но не могу не упомянуть о ее реакции на сближение Советского Союза с гитлеровской Германией, в конце 30-х годов, ознаменованное рядом акций, в частности – приездом Риббентропа в Москву в 1939 году. Л. С. чрезвычайно болезненно воспринимала это сближение, она видела в этом угрозу принципам советского строя (она вступала в партию в 1930 году), распространениям фашистской заразы за пределы Германии. На заверения одного крупного политического деятеля Советского Союза, что сближение с Гитлером – это брак по расчету, она ему ответила: «Но и от брака по расчету бывают дети, и детки будут и от этого брака». Это звучало, как пророчество и предвидение!

Нападением Гитлера на Польшу началась вторая мировая война и почти одновременно с ней – наша война с Финляндией. В этой войне впервые прошел практические испытания метод борьбы с травматическим шоком, теоретически и экспериментально разработанный в институте Л. С. под ее руководством.

Теоретической предпосылкой метода было общее учение о гематоэнцефалическом барьере, функция которого не только ограждала нервные центры от действия различных вредных для них веществ, содержащихся в крови и в нормальных, а тем более патологических условиях, но и препятствовала доступу к этим центрам из крови различных лекарственных веществ, необходимых им для восстановления нормальной деятельности мозга при ее нарушении различными воздействиями. Так родилась идея (не абсолютно новая) о необходимости непосредственного воздействия лекарственными препаратами на

нервные центры в обход гематоэнцефалического барьера, основными структурными элементами которого были стенки мельчайших разветвлений кровеносных сосудов-капилляров и прекапилляров. Обойти эту сеть гематоэнцефалического барьера предлагалось введением лекарственного препарата непосредственно в спинно-мозговую жидкость, омывающую все клетки мозга. При помощи шприца он вводился в цистерну с этой жидкостью, находящуюся под затылочными долями мозга, для чего игла шприца вкалывалась в затылочную область головы. Теоретическое обоснование метода встречало ряд возражений, вытекавших из анатомии мозга и путей и направлений движения спинномозговой жидкости в мозгу. Практическое применение метода при травматическом шоке в финскую войну в ряде случаев, по некоторым отзывам, дало положительные результаты. Для пропаганды метода Л. С. даже выехала на фронт в район боевых действий.

Вслед за финской войной началась Великая Отечественная война с боевым травматизмом в ужасающих размерах. Разумеется, и здесь была пропаганда метода борьбы с травматическим шоком путем введения противошоковой жидкости в затылочную цистерну мозга, но распространения этот метод не получил то ли ввиду его сложности и необходимости владения сложной и небезопасной при плохом владении техникой, то ли ввиду противоречивости результатов. Во всяком случае, он не встретил активной поддержки со стороны начальника Военно-медицинского управления Советской Армии Е. И. Смирнова (после войны министра здравоохранения СССР) и главного хирурга Советской Армии академика Н. Н. Бурденко, и их ни в коем случае нельзя упрекнуть в преднамеренном игнорировании метода, как это иногда утверждала Л. С.

Вернулся в 1943 году в Москву из временной эвакуации в 1941 году в Алма-Ату ее институт, и продолжалась настойчивая работа по внедрению метода непосредственного воздействия на нервные центры при различных заболеваниях, даже таких, как алиментарная дистрофия, и, особенно, специальных заболеваний нервной системы (вирусные и другие энцефалиты, туберкулезный менингит и др.).

Пропаганде практической эффективности метода особенно помог, как это нередко бывает не только в медицине, случай. В семье Ц. заболела туберкулезным менингитом дочь Ира, девочка 10 лет. В то время (это был 1946 год) туберкулезный менингит был абсолютно смертельной болезнью, случаев выздоровления от него не было. В диагнозе туберкулезного менингита было предсказание исхода. В США только что появился полученный

ученым Ваксманом новый антибиотик, следующий за пенициллином, – стрептомицин. Этот антибиотик обладал не только широким спектром антибактериального эффекта, но специальным действием на возбудителя туберкулеза – туберкулезную палочку Коха. Он быстро вошел в клиническую практику как мощное средство лечения туберкулеза в разных его проявлениях и формах и сыграл огромную роль в успехе лечения туберкулеза. Узнав о пропагандируемом академиком Л. С. Штерн методе лечения заболеваний центральной нервной системы путем введения лекарственных веществ в непосредственный контакт с веществом мозга и его оболочек и имея сведения о только что полученном противотуберкулезном антибиотике, родители Иры обратились к Л. С. за содействием в применении ее метода для лечения девочки. Через специальные связи был быстро получен из США стрептомицин (в ту пору он был в США еще в номенклатуре «стратегических» материалов, выдаваемых в каждом отдельном случае с разрешения Конгресса США), и с помощью Л. С. началось лечение Иры введением стрептомицина в подоболочечную затылочную цистерну головного мозга. Девочка выздоровела от туберкулезного менингита, не избежав, однако, осложнения в виде глухоты, вызванной специфическим токсическим воздействием стрептомицина на слуховые нервы. Это был первый (по крайней мере, в Советском Союзе) случай выздоровления от абсолютно смертельной болезни, что воспринималось как чудо и чрезвычайно способствовало общему интересу к методу и популяризации его.

Была организована специальная конференция, в которой участники ее сообщали свои наблюдения над эффективностью метода непосредственного воздействия на центральную нервную систему при различных заболеваниях. Большинство докладчиков было из числа сотрудников Института физиологии, и это несомненно отразилось на трезвой объективности выводов о лечебной эффективности метода.

Здесь не было заведомой недобросовестности (в этом никого из выступавших упрекнуть нельзя), но была, с одной стороны, увлеченность идеей и ее практическим воплощением, с другой стороны, – недостаточная компетенция физиолога-экспериментатора в клинической патологии болезни при ее естественном течении и при изменении под влиянием того или иного метода лечения. Много подобных ошибок знает история медицины, когда автор какого-либо лечебного метода, разработанного им в экспериментальной физиологической, бактериологической или другой лаборатории, сам хочет дать оценку его эффективности в практике лечебной медицины, т. е.

при испытании на больном человеке. Болезнь – сложный процесс, имеющий свои законы развития, т. е. возникновения, течения и исхода. Эти законы может знать только врач-клиницист, конкретное воплощение их он видит каждый день своей деятельности; он ими управляет и направляет в необходимую для излечения сторону, и только он может быть объективным и должен быть беспристрастным судьей в лечебной ценности того или иного воздействия. История медицины знает обилие конфликтов, возникавших между автором лечебного метода и испытателями его в клинической лечебной практике. Ряд таких конфликтов возник между Л. С., как автором метода, и между клиницистами, испытывавшими его в лечебной практике. В ту эпоху любое событие, независимо от его содержания и действительного значения, могло приобрести политическое звучание, нередко с роковым финалом для источника едва слышимого звука, усиленного соответствующими органами до громоподобности атомного взрыва.

Политический характер постепенно приобретала и деятельность Л. С. Штерн при попытках внедрения в медицинскую практику предложенным и пропагандируемым методом непосредственного воздействия на нервные центры. Не все здесь было ясно с научной стороны. Был ряд возражений со стороны специалистов в области туберкулеза против необходимости введения стрептомицина при туберкулезном менингите в непосредственное соприкосновение с тканью мозга и его оболочками; имелись примеры того, что лечебный эффект достигается и при введении стрептомицина в общую циркуляцию крови путем внутримышечных инъекций (так это делается и в настоящее время). Были упреки со стороны клиницистов в недостаточно объективной и недостаточно компетентной оценке физиологами эффективности лечения различных других болезней путем непосредственного воздействия на нервные центры. Для получения из США стрептомицина Л. С. использовала личные связи. Она считала, что ей создаются необоснованные препятствия работниками правительственных органов. Это вынудило ее обходить эти препятствия и компенсировать отсутствие требуемой ею поддержки своей личной инициативой. Ею руководили фанатичная и неконтролируемая вера в чудодейственность и универсализм ее метода лечения и, несомненно, погоня за славой. Ее характеру не были чужды крупное честолюбие ученого, как и тщеславие. В Советском Союзе в то время стрептомицина не было, не было широкой продажи его и в США, как уже было сказано, распределение этого препарата было в ведении Конгресса. Живший в США родной брат Л. С. на

свои средства приобретал (по-видимому, не совсем легальным путем, поскольку он в дальнейшем вынужден был из-за этого уехать из США с материальным разорением) стрептомицин и посылал его Л. С. для научных целей. Таким образом, Л. С. в Советском Союзе была в какой-то период монопольным владельцем стрептомицина, который она давала сама в лечебные учреждения для лечения туберкулезного менингита, обусловив это обязательным применением ее метода. К ней как-то обратилась с личной просьбой Светлана Аллилуева-Сталина (дочь И. В. Сталина) с просьбой дать ей стрептомицин для лечения ребенка ее близких друзей. Л. С. отказала, говоря, что стрептомицин она получает не для лечения туберкулеза вообще, а только для научных целей.

Постепенно стали сгущаться тучи над головой Л. С. Впрочем, они сгущались не только над ее головой, и ее голова была лишь одной из многочисленных, попавших в это сгущение в последний период сталинской власти.

Сгущение туч над Л. С. имело разные симптомы и разные сигналы. Одним из сигналов было сообщение ей (разумеется, сугубо личное) крупным общественным деятелем о том, что Маленков и Щербаков, ближайшие соратники Сталина, плохо к ней относятся и отзываются о ней неодобрительно. Таким сигналом также был переданный мне лично профессором Я. Г. Этингером (в дальнейшем одной из жертв «дела врачей») отзыв Маленкова и Щербакова о Л. С. Штерн. Профессор Я.Г. Этингер был одним из врачей, лечивших Щербакова во время его последней болезни (инфаркт миокарда), закончившейся смертью. Во время визита профессора Я. Г. Этингера к больному Щербакову и последовавшего чаепития Щербаков и Маленков, присутствовавший при этом, резко отозвались о Л. С. Штерн и ее методе лечения. При этом один из них сказал (передаю точно слова Я. Г. Этингера): «Уверен, что никому еще Штерн со своим методом не помогла, мы поторопились выдвинуть ее в академики». Разумеется, никакого немедленного значения для участи Л. С. Штерн эта беседа не имела: участь ее (как и самого Я. Г. Этингера) была решена другими закономерностями. Это лишь демонстрация сгущения атмосферы вокруг Л. С. Штерн, закончившаяся ее арестом.

Последнему предшествовал ряд событий, и, прежде всего, мероприятия по дискредитации ее как ученого. Было бы, однако, наивным предположение или утверждение, что в постигшей ее участи главную или единственную роль играли ее научные недостатки, действительные или мнимые. Политическая и общественная ситуация того времени делала такое

предположение, а тем более – утверждение просто смехотворным (если слово «смех» здесь позволено употребить). Современники были свидетелями, как по политическим соображениям уничтожались крупнейшие ученые (превращались в г-но, по выражению Н. И. Вавилова). Наряду с этим заведомые невежды вроде О. Б. Лепешинской или Т. Д.

Лысенко объявлялись гениями, их «научный» бред – вершиной науки. Были неучи и жулики от науки и поменьше рангом, но они великолепно процветали и благодушествовали под благожелательным покровительством «руководящих» органов и лиц.

Научная дискредитация Л. С. Штерн была предшествовавшей фазой ее физического уничтожения, причиной и поводом для которой были следующие обстоятельства.

Во время Отечественной войны бурную деятельность развили различные общественные организации, сыгравшие немалую роль в общем напряжении всех сил страны для победы над страшным врагом. Был сформирован и Еврейский антифашистский комитет из выдающихся представителей еврейской национальности в СССР. В него вошли известные еврейские писатели (Бергельсон, Перец-Маркиш, Квитко, Фефер и др.), артисты (Михоэлс, Зускин), деятели здравоохранения (главный врач Боткинской больницы Шимелиович), государственные деятели (Лозовский), ученые (академик Фрумкин, Нусинов и др.). Вошла в него и Л. С. Штерн, и, по-видимому, это и сыграло роковую роль в ее судьбе. Л. С. Штерн, вообще, не была созвучна эпохе и своим общим обликом залетевшей в сталинскую империю «буржуазной птицы», и многими не созвучными эпохе высказываниями, и, главным образом, тем, что она была членом Еврейского антифашистского комитета и «видной» еврейкой. Последний признак, однако, был ей лично абсолютно чуждым. Выросшей и воспитанной в европейской атмосфере буржуазного интернационализма, национального и религиозного свободомыслия, ей были абсолютно чужды и даже враждебны проявления национальной ограниченности. Ее участие в Еврейском антифашистском комитете определялось формальным признаком, а не национальным тяготением к «землячеству», хотя ей не была чужда еврейская духовная культура, как и всякая другая.

Научная или иная дискредитация, как этап уничтожения ученого, не была оригинальным приемом в арсенале органов госбезопасности. Можно напомнить эпизод с профессором Д. Д. Плетневым, предшествовавший его аресту и преданию суду в общем большом политическом процессе 1938 года с участием Бухарина, Ягоды, Розенгольца, Левина и других в качестве

обвиняемых. Профессор Д. Д. Плетнев, крупный клиницист и бесспорно опытный и талантливый врач, был одним из консультантов кремлевской больницы и принимал участие в наблюдении за здоровьем и лечением крупных деятелей Советского государства. Он имел заслуженную репутацию крупнейшего ученого-клинициста с огромным врачебным опытом, принятого в самых высоких сферах Советского государства.

Подобно грому из ясного неба в центральных газетах в 1939 году (в том числе и в «Правде», если мне не изменяет память) во всю ширину полосы появился гигантский заголовок: «Проклятие тебе, насильник, садист!» Под этим кричащим заголовком была статья (государственной важности!!!), посвященная аморальным действиям профессора П., о чем я рассказывал выше.

Для Л. С. Штерн (ей в ту пору было около 70 лет) был избран другой, не сексуальный, путь дискредитации, хотя он и занимал некоторое место в следственном процессе. Начало ему положила статья некоего Бернштейна, заведующего кафедрой биохимии в Ивановском медицинском институте. Статья эта появилась летом (в июле или в августе) 1947 года в газете «Медицинский работник». В ту пору эта газета была рупором всякого псевдонаучного мракобесия, пропагандистом омерзительного невежества, а также рупором модной в то время черносотенной клеветы и травли. Статья Бернштейна подвергала критике содержание и направление исследований Л. С. Штерн и ее сотрудников в области гематоэнцефалического барьера. Это был уже не сигнал, а первая стрела открытой атаки. Остается неясным, была ли эта стрела только направлена рукой Бернштейна, а в действительности он был исполнителем более мощного вдохновителя, или же это была его личная инициатива в предвиденье благосклонной реакции на нее, которая была обеспечена всей атмосферой того времени. Во всяком случае, стрела попадала в нужную политическую цель, и вслед за ней в срочном порядке, вне всяких планов издания, где в замороженном виде годами ждали своего выхода в свет нужные науке книги, Медгизом была издана книжица того же Бернштейна под хлестким заголовком «Против упрощенчества и упрощенцев», вышедшая в середине 1948 года. С момента опубликования статьи в «Медицинском работнике» Бернштейн стал открытым оружием расправы с Л. С. Штерн, если не был скрытым оружием до этой статьи. Это оружие было удобным по еврейской национальности героя, т. к. не могло быть подозрения в его антисемитских побуждениях. Он охотно стал таким оружием, бесспорно ожидая компенсации за свою научную доблесть, как таким оружием стала гр-ка Б. в деле Плетнева, врач Тимошук в

будущем «деле врачей» и многие другие. В период подготовки брошюры к изданию и в последующий короткий период Бернштейн стал героем дня. Он имел постоянный пропуск в ЦК КПСС, входил без доклада к министру здравоохранения СССР Е. И. Смирнову за директивными указаниями, а когда он входил (также без доклада) в кабинет президента Академии медицинских наук СССР академика Н. Н. Аничкова, тот вскакивал из-за стола и шел поспешно навстречу «высокому» гостю. Тот себя чувствовал и вел, как подлинный герой дня: ведь он выполняет важное политическое задание – сокрушает академика Л. С. Штерн.

Брошюра с разносом учения («лжеучения») Л. С. Штерн вышла из печати летом 1948 года. А в мае этого года Л. С. была неожиданно вызвана к президенту АН СССР, в составе которой был ее институт, С. И. Вавилову (брату Н. И. Вавилова), сообщившему ей о решении президиума передать ее институт в Академию медицинских наук, а эта Академия тут же решила (все решения, конечно, были подготовлены заранее) передать его в Ленинград академику К. М. Быкову. Приехали его представители, упаковали аппаратуру и библиотеку, и все это в хаотическом беспорядке было отправлено в Ленинград. Каждому, даже не научному работнику-экспериментатору ясно, во что превращается аппаратура, собираемая годами и целеустремленно служащая тематической и проблемной идее, определенным научным планам и интересам – при ее демонтаже и передаче в учреждение, разрабатывающее совершенно другие проблемы. Эта аппаратура превращается в утиль, что было и в данном случае. Таким образом, передача института Л. С. Штерн в другое учреждение, по существу, была инсценировкой организованного разгрома. Такого рода «реорганизации» были формой расправы с неугодными Советскому правительству того времени не только научными институтами. Так, например, была произведена «реорганизация» Института морфологии, директором которого был академик А. И. Абрикосов, в Институт фармакологии, директором которого был назначен физиолог – некто профессор Снякин. Причина «реорганизации» – ярлык «вирховианского гнезда», наклеенный О. Б. Лепешинской на институт, из которого она должна была за несколько лет до своей «коронации» в величайшие гении уйти ввиду полного несоответствия ее лаборатории требованиям элементарной науки. «Реорганизации» подверглись не только научные учреждения, но и театры с ярко выраженной индивидуальностью художественного руководителя (театр Мейерхольда, Таирова-Коонен), журналы и пр. Такая «реорганизация» выглядела нередко так, как если бы еврейский театр был «реорганизован» в цыганский или наоборот.

Разгрому института Л. С. Штерн можно дать любую из наклеек – передача в другое ведомство, перестройка, передислокация, реорганизация и т. д., но суть остается одна: институт ликвидирован, коллектив распущен и обивает пороги различных учреждений в почти безнадежных поисках работы. Безнадежных потому, что на многих из них двойное клеймо: национальность и сотрудничество с Л. С. Штерн, фигурой уже одиозной. Для нее самой сохранили небольшой штат из четырех человек, включая ее личного секретаря. Одиозность личности Л. С.

Штерн не ограничилась ликвидацией института. Все понимали, что за этим скрываются не только и не столько научные «ошибки» академика Штерн, сколько общее отрицательное и даже враждебное отношение к ней в высших сферах Советского государства.

Одним из последних аккордов и, пожалуй, самым громким в музыкальной прелюдии к аресту Л. С. было двухдневное заседание Московского общества физиологов, биохимиков, фармакологов, посвященное научной деятельности и научному творчеству академика Л. С. Штерн. Обсуждение научного направления исследований Л. С. Штерн и ее института в этом обществе было логически не совсем понятным после ликвидации института, прекращения исследований и самого направления. Логика подсказывала бы обратный ход событий. Но, по-видимому, для такой логики не было времени, было распоряжение и надо было его выполнять. Последовавшее же обсуждение, исход которого не вызывал никакого сомнения по опыту организации более ответственных и более значительных дискуссий, включая и суды над деятелями Советского государства и партии, было, по-видимому, необходимым как известная форма оправдания предпринятых акций и как «оформление через демократию» уже вынесенных решений. Деликатности и политического такта никто не требовал, чем грубее, тем яснее и эффективнее!

Это обсуждение, по существу, было «художественным» оформлением выполненных репрессий в отношении Л. С. Штерн. Оно без всякого сомнения было инспирировано свыше. При общей политической ситуации в стране никто не решился бы без риска для себя взять ответственность за организацию такого обсуждения, а по существу общественного суда над академиком, членом КПСС, да и не смог бы его организовать без одобрения свыше. Самодеятельность здесь не допускалась в какой бы то ни было форме.

В организованной научной дискредитации Л. С. Штерн все

было определено по заранее разработанному сценарию. Режиссура его находилась за пределами спектакля. Главная режиссура находилась в руках министра здравоохранения Е. И. Смирнова, а непосредственное дирижирование было возложено на председателя Общества физиологов, академика Академии медицинских наук профессора И. П. Разенкова, крупного ученого-физиолога, человека честного и порядочного, в общепринятом смысле этих качеств, и доброжелательно, или по крайней мере корректно, относившегося к Л. С. Ему предстояла трудная задача, и он ее выполнял с добросовестностью и бесстрашием обреченного на заведомо сомнительную роль.

Характеристика «спектакль» для этого мероприятия употреблена не случайно. Оно и внешне походило на спектакль в стенах анатомической аудитории на Моховой улице. Аудитория, вмещающая 600 человек, была переполнена, сидели не только на скамьях, но и в проходе, на ступеньках.

Места занимали заранее, т. к. не все могли вместиться в аудиторию, и большие толпы находились за пределами ее на площадках лестницы и в холле.

Любопытство к научному аутодафе академика привлекло массы студентов (они в основном заполняли аудиторию), ожидавших или интересного побоища, как на ринге, или не менее увлекательного зрелища собачьей грызни между учеными.

Любопытный, но закономерный факт для того времени: сочувствие человеческой массы было на стороне Л. С. Штерн и ее сотрудников. Сочувствие, однако, ни в коей мере не определялось признанием высоких достоинств исследований, в которых эта масса, за очень редкими исключениями, совершенно не разбиралась.

Отношение аудитории, состоящей по преимуществу из молодежи, определялось простыми до схематичности соображениями: раз их бьют и преследуют, значит, они правы и заслуживают сочувствия. Это свое отношение она выражала то бурными аплодисментами (в адрес защитников), то гулом и топаньем (в адрес нападающих). Для характеристики отношения молодежи к этим событиям (да и моральных качеств самой молодежи) показателен факт категорического отказа двух аспирантов кафедры физиологии 2-го Московского медицинского института (фамилию одного из них помню – Латаш) отмежеваться и заклеймить своего научного руководителя Л. С. Штерн. Они стояли перед угрозами исключения из комсомола и из аспирантуры, приведенными в исполнение.

Термин «спектакль» правомерен и тенденциозным подбором ролей и исполнителей. Особенно выделялись в роли обличителей

Л. С. Штерн Бернштейн, Асратян, Беленький, Неговский, Огнев. Более академичным было выступление И. В. Давыдовского, участие которого в этом спектакле, к тематике которого он прямого отношения не имел, несколько удивляло. Вероятно, и он выполнял определенное задание, как член президиума Академии медицинских наук. Все же И. В. Давыдовский, критикуя работы Л. С. Штерн, закончил свое выступление неожиданным признанием «большого дела, которое она делает», но наносит ему вред недостаточно обоснованными заключениями и некритическим отношением к рекомендуемым ею практическим методам лечения.

Основным документом, положенным в основу дискуссии, была брошюра Бернштейна, а сам автор был главным действующим лицом в этом обсуждении. Сам он, если судить по его поведению, считал себя первой скрипкой в этом оркестре, хотя на самом деле был только барабаном, в чем сам мог убедиться в дальнейшем, если был способен правильно оценить происшедшее. Скрипок было много.

Выступления в защиту Л. С. Штерн не носили такого организованного характера, как критические, и не встречали поддержки у организаторов дискуссии. По-видимому, они имели указание не особенно поощрять их. По крайней мере, мое заявление о желании выступить было встречено без восторга председательствующим И. П. Разенковым. Более того, он убеждал меня не выступать, ссылаясь на то, что я много лет не работаю с ней. Было ли это проявлением дружелюбного отношения ко мне и желанием оградить меня от возможных последствий выступления в защиту Штерн (они в действительности были), или менее альтруистическими соображениями – решить невозможно.

Однако его советы меня не удержали, хотя в период, предшествовавший дискуссии, у меня был длительный разрыв личных отношений с Л. С. Я выступил, т. к. все происходящее было для меня общественным явлением эпохи, а не личной драмой Л. С. Штерн.

Дискуссионное обсуждение научной деятельности академика Л. С. Штерн не получило по ряду обстоятельств, не предусмотренных намеченным ритуалом, своего целевого завершения в виде соответствующей резолюции Общества.

Правление Общества никак не могло собрать необходимого кворума для принятия и подписания такой резолюции, содержание которой отвечало бы поставленным организаторами задачам, т. е. дискриминирующей деятельности академика Л. С. Штерн. По-видимому, большинство членов правления Общества сознательно старалось избежать выполнения этой «почетной»

зачади.

Логическое завершение дискуссии состоялось в одну январскую ночь начала 1949 года. В подобных случаях иногда говорят «в одну прекрасную ночь», исходя из французского опыта, утверждающего, что «все прекрасное приходит неожиданно». Однако ничего неожиданного не было в том, что около часа ночи в квартиру Л. С. Штерн (Староконюшенный переулок), где она жила со своей многолетней работницей Катей (от нее узнали о происшедшем в эту ночь), явились три ночных новогодних ангела – двое мужского пола, один – женского с сообщением о том, что Л. С. приглашает для переговоров Лаврентий Павлович Берия. По-видимому, и Л. С. было известно дореволюционное правило, согласно которому «когда пристав вызывает, нельзя быть свиньей – надо идти». Однако по своей наивности она полагала, что это – действительно деловое приглашение, выполнение которого можно отложить на утро, тем более, что она только что легла спать. Но ангелы с твердостью сказали, что неудобно заставлять Лаврентия Павловича ждать, а он ждет ее. Делать было нечего, Л. С. стала одеваться, в чем ей помогла работница и пришедшая женщина, почему-то тщательно освидетельствовавшая одежду Л. С. Л. С, только несколько удивило чрезмерное внимание этой женщины, заключающееся даже в том, что когда Л. С. зашла перед уходом в туалет, женщина вошла вместе с ней. После завершения одевания все отбыли, и так закончилось обсуждение научных достижений академика Л. С. Штерн. Родных у нее, которые имели бы право периодически справляться о ней (получая обычно стереотипный лаконичный ответ) и передавать передачи, не было. Человек канул в небытие…

За несколько часов до прихода ночных гостей Л. С. получила телеграмму от брата из Вены, где он жил в большой нужде, уехав из США. Телеграмма была лаконичного, но выразительного содержания: «Беспокоюсь отсутствием писем, у вас такие дела». Он, очевидно, полагал, что это – законспирированная по смыслу формула его осведомленности о «таких делах». Телеграмма была пророческим предчувствием включения любимой сестры в «такие дела».

Телеграмму, конечно, унесли визитеры.

Прошло почти четыре года, заполненных драматическими событиями последних лет сталинской диктатуры. И вдруг неожиданно зимой 1952/1953 года (на сей раз во французской оценке неожиданности) раздался голос Л. С. в виде письма из Джамбула (Средняя Азия), в котором она извещала, что она находится там и просит кого-либо из сотрудников приехать к ней. Никто из сотрудников не выразил готовности поехать к ней.

Давил страх перед контактом с осужденной по политическому делу, все боялись сложных провокаций, да и материальных средств на такую поездку ни у кого не было. Смысл такого приглашения был не совсем ясен. По-видимому, здесь был, с одной стороны, призыв о помощи беспомощного в такой ситуации человека, которому к тому же за 70 лет и который и в обычной советской бытовой обстановке не всегда правильно ориентировался. С другой стороны, здесь было проявление свойственного Л, С. эгоцентризма, плохо учитывавшего и плохо сочетавшегося с реальными возможностями даже близких ей людей. Ясно было также, что она обращается не просто к близким людям, а к своим сотрудникам, как будто прошедшие четыре года ничего не изменили ни в их служебных взаимоотношениях, ни в их возможностях в новой обстановке. В конце концов, после обмена мнениями (осторожного в ситуации 1952 года) в Джамбул рискнула поехать старый и преданный секретарь Л. С. – О. П. Скворцова.

В июне 1953 года Л. С. вернулась в Москву. Первые несколько дней после возвращения в Москву она провела у нас, где моя жена, ученица и сотрудник Л. С., и я окружили ее максимальным вниманием и уютом. От нее самой мы узнали о том, что с ней произошло после памятной январской ночи. Ее информация отнюдь не имела характера связного и последовательного повествования. Это были разрозненные отрывочные воспоминания, но и они в дальнейшем были настолько стерты быстро прогрессирующим артериосклерозом, что не оставили никакого следа в ее памяти. Спустя несколько лет она с тревогой говорила о полной утрате памяти, о том, что она ничего не помнит из того периода, как будто бы его вообще не было. Этот провал в памяти был настолько полным, что производил впечатление психологического охранительного торможения на фоне артериосклероза мозга. Это было фрейдовское «вытеснение противного». В самом же начале она была крайне подавлена, производила впечатление человека, выходящего из продолжительного психологического шока. Из ее бессвязных рассказов выяснилось, что она была арестована как член Еврейского антифашистского комитета и осуждена к высылке в Джамбул. О том, что ей конкретно инкриминировалось, она ничего внятного сообщить не могла.

По-видимому, она даже не соображала, в каких преступлениях, как член этого «преступного» сообщества, она обвиняется и в чем состоят преступления этого сообщества. Упрекнуть ее в этом нельзя. Собственный опыт убеждает, что чудовищная нелепость выдвигаемых обвинений превращает их в

бред сумасшедшего, и как всякий бред его трудно воспроизвести нормальному уму.

Тем более трудно было Л. С., далекой от политических нюансов, понять, о чем конкретно идет речь, особенно в обстановке, где реальность тесно переплетена с фантасмагорией. На следствии, как она нам сказала, она только признала себя виновной в том, что, будучи коммунистом, она не вникала в дела комитета, не знала его действий, не была бдительной, как подобает коммунисту, и потому не была в курсе «преступных замыслов» комитета.

Единственное, что врезалось ей в память, это – «суд» (как она думала), где присутствовали все обвиняемые, т. е. весь комитет в полном составе.

По-видимому, это был не суд, а очная ставка всей «преступной» группы с возможной перекрестной проверкой показаний каждого, т. к. суда в обычном понимании этого процесса в таких делах в то время не было. Все решала «тройка», и приговор каждому из обвиняемых сообщался персонально. Да и приговором, как это удалось от нее выяснить, это заседание не было завершено.

Л. С. рассказывала, что особенно тяжелое впечатление на нее произвел внешний вид Лозовского и Шимелиовича. Они производили впечатление очень измученных людей, а около Шимелиовича все время дежурила медсестра со шприцем в руках. Он был как будто сломанный физически. Мужественно держался Лозовский, отказывавшийся от показаний, данных на следствии. Когда председатель, справившись с соответствующим показанием, данным на следствии, говорил, что «на следствии вы ведь показывали другое», то Лозовский отвечал:

«Вы ведь знаете, каким образом были добыты эти показания», но эту реплику председатель отвергал. В частности, Лозовский говорил: «Я не могу смотреть в глаза академику Штерн после того, что я говорил о ней на следствии, и прошу у нее прощения за это», на что опять следовали стереотипная реплика председателя и стереотипный ответ Лозовского. По-видимому, больше всех «раскололся» Фефер: Лозовский, говоря о нем, называл его «свидетель обвинения Фефер». В частности, он подтверждал высказывания Л. С. о «родине», ее раздраженный вопрос, заданный в каком-то контексте: «Что такое родина?

Моя родина – Рига», – это высказывание она не отрицала, но смысл, конечно, она вкладывала не тот, который хотело следствие и обвинение. Кстати, следует заметить, что Л. С. отмечала свое рождение два раза в году: один раз – 26 августа – день ее биологического рождения, второй раз – 31 марта – день ее

приезда в Советский Союз. При этом второе рождение она ценила гораздо больше первого, говоря, что в первом она не была виновата, и всегда с большой торжественностью отмечала день второго рождения, которое считала подлинным, поскольку оно было сознательным.

Не будем судить Фефера. Он был такой же жертвой, как все его сопроцессники, и разделил их участь.

Среди событий монотонных дней и ночей одиночного заключения в стенах Лубянки, до утомительности и отупения однообразных, Л. С. запомнился один из допросов. Я передам ее рассказ об этом допросе почти дословно. Я ручаюсь за точность смысловой и текстуальной передачи с необходимостью заменить из уважения к бумаге и читателю многие слова и выражения многоточиями или адекватными по смыслу формулами, приемлемыми для нежного «девического ушка», как это делала сама Л. С. при рассказе об этом допросе. «Ты старая б-дь, – сказал следователь, – мы знаем, зачем ты каждый год ездила за границу. Ты там вступала со всеми в половое сношение». Все это было сказано, как говорила Л. С., в циничных выражениях, о смысле которых, как она говорила, «я только догадывалась». Л. С., пытаясь обратить, со свойственным ей юмором, всю эту гнусность в шутку, возразила: «О некоторых женщинах говорят, что до 40 лет им платят, а после 40 – они платят. Ведь мне уже далеко за сорок, если бы было так, как вы говорите, то у меня не хватило бы никаких средств, чтобы расплатиться…» Действительно, ей в эту подлую пору было уже много за 70, но мало изобретательный цинизм сотрудников МГБ не пощадил и старую женщину-академика. Продолжаю рассказ Л. С. В ответ на реплику Л. С. следователь начал: «Мать твою… мать твою… мать твою… мать твою…» Я ему говорю: «При чем тут мать, она давно умерла, какое она имеет отношение к антифашистскому комитету?» Он продолжает свое: мать твою, мать твою. Тогда я ему говорю: я догадываюсь, что вы хотите скомпрометировать мою мать, но хоть бы вы разъяснили смысл вашего, как мне кажется, циничного выражения. А он продолжает свое: мать твою, мать твою…» Площадная ругань – один из стереотипных приемов следователей МГБ, доведение до сознания подследственного, что он не академик, даже не человек, а «г-но собачье». Мне рассказывал В. В. Парин, что в период пребывания Н. И. Вавилова в Саратовской тюрьме, когда в общую камеру поступал новый заключенный, Н. И. Вавилов представлял ему себя следующим образом: «Вавилов, бывший академик, а теперь говно собачье». Вероятно, эту мерзость внушал ему следователь.

Впрочем, и все остальные бесконечные дни и ночи,

проведенные во внутренней тюрьме МГБ, далеко не были ни физическим, ни моральным санаторием. Для этого надо знать и представить быт этого учреждения с его парашами и прочими аксессуарами режима. В частности, можно легко представить трудности этого режима для слабосильной старой женщины в возрасте около 75 лет, справлявшейся с бытовыми трудностями в нормальных условиях только с помощью близких ей людей. В камере, где она некоторое время пребывала в обществе еще двух заключенных женщин, она с трудом справлялась с требованиями к ней мыть полы, убирать камеру, выносить парашу, когда на нее падала очередь выполнения этих мероприятий. Немало издевательств и упреков в неопрятности со стороны односидельцев пришлось вынести старой женщине-академику за много лет проживания в камере подследственной тюрьмы МГБ.

Самым страшным эпизодом многолетнего пребывания Л. С. в заключении был ее перевод в Лефортовскую тюрьму, где она пробыла 20 суток. Это – тюрьма спецрежима, как мне разъяснил мой следователь, и Л. С. охарактеризовала ее как «преддверие ада». По-видимому, она побывала в карцере, поскольку, как она говорила, были дни, когда она могла только стоять, да и сидячее положение в одиночной камере этой тюрьмы (я провел в ней два месяца) только розовый оптимист назвал бы комфортом.

Дело Еврейского антифашистского комитета, как известно, закончилось смертной казнью всех его членов. Они были застрелены 12 августа 1952 года.

Вне этой кары осталась, вероятно, только Л. С. Штерн. Чем объяснить такое снисхождение к ней – сказать невозможно. Но несомненно, что были какие-то (отнюдь не гуманные, конечно) соображения ее пощадить. Она была осуждена к высылке в Среднюю Азию на 5 лет без конфискации имущества. Ей предложили указать пункт, где она хотела бы провести ссылку. Она назвала Алма-Ату, где она была в эвакуации во время войны, но в этом ей было отказано (по-видимому, столицы союзных республик исключались из места ссылки). Так она попала в Джамбул. Ей были возвращены изъятые при аресте драгоценности и деньги.

При ее расторопности и ориентации в вопросах быта, да еще в чужом городе, можно представить, какие все это создавало для нее трудности. При ее доверчивости к проходимцам ее обволокли какие-то люди (кажется, тоже ссыльные) и обворовали дочиста, забрав все драгоценности, а их было немало.

Так замкнулась цепь пророчеств, которыми ее напутствовали друзья в Женеве при отъезде в Советский Союз. Единственное ошибочное звено в этой цепи – ссылка не в Сибирь, а в Среднюю

Азию…

После возвращения в Москву ей была возвращена ее жилплощадь из двух комнат в общей квартире на Староконюшенном переулке, бывшая в течение всего периода ее отсутствия опечатанной. Тучи моли заполнили комнаты до раскрытии шкафов, где оставались носильные вещи Л. С. Ей была возвращена ее дача в академическом поселке «Мозжинка», и постепенно восстановился ее быт. Она не была исключена из состава академиков Академии наук СССР. За время ее отсутствия накопилась огромная сумма денег за звание академика (500 р. в месяц), которая была ей выдана.

Гораздо медленнее шло политическое восстановление. Она была не реабилитирована, а амнистирована, и процесс восстановления в партии шел медленнее, пока амнистия не была заменена реабилитацией. В конце концов, все же было восстановлено ее политическое и общественное лицо. Постановлением президиума Академии ей разрешено было организовать лабораторию для продолжения ее научных исследований с надлежащей помощью для этого. Такая лаборатория была организована, к ней вернулись ее старые сотрудники; лаборатория весьма продуктивно работала, завоевала прочную репутацию научного центра, где разрабатывалась проблема барьерных механизмов, которой была посвящена почти вся научная жизнь Лины Соломоновны Штерн. Этой проблеме было посвящено несколько всесоюзных конференций, имевших большой научный успех. Лина Соломоновна скончалась весной 1968 года, не дожив нескольких месяцев до 90 лет.

Осенью 1978 года состоялась специальная широкая конференция, посвященная столетию со дня рождения Л. С. Штерн, память о которой хранят немногие оставшиеся в живых ее ученики и сотрудники.